

БЛАГАЯ ВЕСТЬ

Роман

Когда Савелий Савельевич еще был наивным Савиком, его забавляло и то, что он женился на поповне, и то, что Симиного отца все называют отцом Павлом. Зато когда он сделался многомудрым Савлом, его это начало раздражать: какой он вам отец, у вас что, своих отцов нет? А вот когда старик внезапно пропал неизвестно куда, Савл сильно потеплел к Павлу, и когда его в очередной раз вызвали на опознание (к счастью, по фотографии) очередного бесхозного старца, он в разговоре с противной оперативницей уже называл отца Павла отцом Павлом безо всякого напряжения.

И все-таки от соприкосновения со смертью захотелось поскорее в тепло, домой, к своей поповне, хотя из-за жуткой истории с отцом она почти утратила главную составляющую своего обаяния — умение радоваться всякой чепухе. Но Симы, к сожалению, дома не было, пришлось отвлекаться телевизором. А там, будто нарочно, выступал какой-то иерарх — серебряная с чернью борода, на голове увенчанный крестом белоснежный шатер, над входом в который выткан очень красивый ангел, сложно заплетший шестерку своих оперенных крыльев, видимо, тот самый шестикрылый серафим. Звучным торжественным голосом небожитель зачитывал отчетный доклад: за истекший период пунктом шестым нашего постановления... Как, бывало, на партийных съездах, только достижения непривычные: по линии борьбы с сектантством принят образовательный модуль по основам православной культуры, катехизация выросла на шесть целых пятьдесят семь сотых процента...

Он попытался развлечься фейсбуком, но и там бросалось в глаза что-то, как выразился отец Павел, *промыслительное*.

«Христос был гениальный пиарщик, а церковь гениально осуществила монетизацию его бренда». Ну да, и вы бы так могли — пошли бы ради своего бренда на крест, а потом сотрудники вашей фирмы еще лет триста-четыреста посидели бы в подполье, пораспинались, поголодали, поизгонялись, — лет через тысячу, глядишь, и к вам бы пришла монетизация.

Александр Мотельевич Мелихов родился в 1947 году в г. Россошь Воронежской области. Окончил матмех ЛГУ, работал в НИИ прикладной математики при ЛГУ. Кандидат физико-математических наук. Как прозаик печатается с 1979 года. Литературный критик, публицист, зам. гл. редактора журнала «Нева». Произведения переводились на английский, венгерский, итальянский, китайский, корейский, немецкий, польский языки. Набоковская премия СП Санкт-Петербурга (1993) за роман «Исповедь еврея». Премия петербургского ПЕН-клуба (1995) за «Роман с простатитом». Премия интернет-конкурса «Тенета.ринет»-2002 в номинации «Литературные очерки, публицистика». Премия им. Гоголя от правительства Санкт-Петербурга и СП Санкт-Петербурга за роман «Чума» (2003), за роман «Интернационал дураков» (2009) и за роман «Тень отца» (2011), премия правительства Санкт-Петербурга (2006) за роман «В долине блаженных». Премия «Учительской газеты» «Серебряное перо». Премия 2008 года журнала «Полдень, XXI век» (гл. редактор Борис Стругацкий). Премия фонда «Антифашист». Лауреат премии журнала «Иностранная литература» за 2015 год. Премия им. Гоголя за роман «Свидание с Квазимодо» (2017).

Полистал — опять промыслительное.

«У меня есть история про взаимоотношения с богом. Я была беременна своей дочерью, и дела были плохи. Угроза выкидыша, бесконечные больницы для сохранения. Наступил момент отчаяния. Я молилась богу, у меня была библия, которую я читала. И становилось все хуже. И в итоге я психанула. Я послала мнимо существующего бога на ..., а библию порвала в клочья и смыла в больничный унитаз. И целиком взяла ответственностью за свою жизнь на себя. С этого момента мне незамедлительно стало лучше. Меня выписали из больницы, и в итоге я родила прекрасную дочь. Так что всем, кто верует и у кого плохи дела, советую смыть библию в унитаз — помогает, проверено».

Как психотерапевт с серьезным стажем он прекрасно знал: каждый видит то, что бессознательно разыскивает, но от усталости все равно лезла в голову нелепая мистика — будто какие-то *силы* специально ему что-то подсовывают.

Поесть, что ли, с горя?

Он налил воды в приземистую эмалированную кастрюльку, алюю в белых пятнах, словно божья коровка, опустил в нее два яйца и поставил на огонь: если яйца будут нагреваться вместе с водой — меньше шансов, что они лопнут. Он знал, что решительно ничто в этом мире нельзя выпускать из-под контроля, но когда ему слышалось, что компьютер в кабинете пискнул, он поспешил туда («ничего, я только гляну и тут же обратно»).

Какой такой благой вести он ждет, если готов спешить по первому писку, неизвестно, но он почти обрадовался, когда в скайп попросился некий Greg Bird — любопытно, что это за птица? Вдруг и на Западе кто-то заинтересовался его теорией заземления? Вряд ли, конечно, свет с Востока должен идти от полных дикарей.

Батюшки — это был Гришка Бердичевский!

Сердце радостно екнуло: воскрес друг и учитель! Но в каком виде — лысенкий, сытенький, жизнерадостный... А был вылитый молодой Свердлов в очках без оправы, которые вполне можно было принять за пенсне, Гришка-то впервые и назвал его Савлом. Длинный, тощий, стремительный, Гришка всюду входил, словно инспектировал каких-то оборотов, заранее уверенный, что они все сделали не так, — Гришка в свое время и посадил его на Фрейда: «Единственный, кто смотрит на мир реально...» Хотя и за этим слышалось: но мы и с ним еще разберемся.

И вот он же округлившись, довольный... неужто в Америке и правда рай?

— Гриша, дорогой, как я рад, ты где?.. — премудрый Савл сам поразился, до чего легко в нем проснулся доверчивый Савик, захлебывающийся от радости, с какими умами ему выпало счастье дружить.

— Где и был, в *эшаа*, — Гришка по-прежнему все произносит на свой лад и не сентиментальничает, хотя уже не чеканит, а отвечает с улыбкой.

— Но я к тебе по делу. Я читал, что отец Павел куда-то исчез, а я обладаю способностью находить исчезнувших людей. Если, конечно, они нужны духовному миру.

Едрить твою, и Гришка, что ли, туда же, в *духовку*?.. Но стоп, прикуси язык, все-таки черт-те сколько лет не видел друга.

— И где же, по-твоему, *отец Павел*?

— Не надо сарказма. Впрочем, все это детские понты, духовному миру до них дела нет. Просто ты для себя закрываешь возможность с ним общаться. Ты лучше раскройся, тогда я, возможно, смогу тебе помочь.

Он говорил с милой, совсем не Гришкиной улыбкой, как будто урезонивал симпатичного, но задиристого мальчугана.

— Хорошо, хорошо, не буду. Так и где он, по-твоему?

— Я чувствую, что он как-то связан с водой.

— Что это значит? Он утонул или работает водопроводчиком?

— Вот ты опять. Если хочешь принять какую-то информацию из духовного мира, ты должен полностью отключить скепсис. И слушать, не откликнется ли что-то в твоей глубине.

Видимо, слово «глубина» сделалось ключевым в их индуцированной бредовой системе. Надо поосторожнее.

— Ладно, попробую отключить. Правда, не представляю, как это делается.

— Представь, что ты первобытный человек, — Гришка был неузнаваемо терпелив и доброжелателен. — Ты никогда ничему не учился. Ты не читал никаких книг. Ты один в лесу. Ты чувствуешь, куда дует ветер, в каком направлении течет вода, смотришь на небо, скоро ли пойдет дождь, высматриваешь, какие звери поблизости, опасные они или нет и так далее. Никаких знаний у тебя нет, у тебя поневоле работает не разум, а интуиция. Вот тогда только у тебя есть шанс что-то расслышать из духовного мира. Собственно, и все. До свидания.

Он улыбнулся так дружелюбно и буднично, словно по-соседски заглянул за солью и спешит откланяться. Чтобы не обременять хозяина сверх необходимости.

— Что, и все?.. Скажи хоть пару слов о себе: где ты живешь, как? Мы же черт знает сколько лет не виделись.

— До чего вы все любите детские вопросы: как поживаешь да что кушаешь, да на чем спишь да с кем...

— Ну, конечно. Если человек нам симпатичен, разумеется, мы хотим побольше про него знать.

— Эти вопросы интересны только незрелым личностям. Но на них лучше всех ответил Иисус. Он сказал, что нужно жить в этом мире, но быть не от этого мира. Сознать, что этот мир далеко не последняя реальность. Так сказать, кесарю кесарево, а Богу Богово.

Гришка говорил по-прежнему терпеливо, но несколько посуровел.

— Ну, если не хочешь отвечать...

— Ты обиделся? Моя мать тоже постоянно обижается, что я ничего о себе не рассказываю. Но сколько раз можно описывать, что я ел на завтрак... Но тебе могу рассказать, ты и правда ничего обо мне не знаешь. Что тебя интересует? Спрашивай.

У Савла возникло ощущение, как будто он работает с пациентом, а в таких ситуациях обидеть его было невозможно.

Пукх... На кухне нежно лопнуло яйцо. Черт, на таком важном месте прерваться невозможно.

— Сразу и не сообразишь, о чем спросить... Скажи, Фрейд там тебе пригождается?

— Фрейд же был противник всякой мистики, у него одни неврозы да психозы. Но как-то раз помог. Соседка пожаловалась, что у нее садится зрение, а я понял, что она не хочет видеть, как ее мужик — здоровый мужлан, шоферюга — заглядывается на соседскую негритянку. Очень сочная такая негритянка. Жена это понимает и подсознательно ослабляет свое зрение.

— Понятно. Ты зарабатываешь ясновидением?

— Нет, это мелкие фокусы. Но иногда духовным силам почему-то угодно, чтобы я по фотографии поставил диагноз — тогда я его ставлю. Вижу какое-нибудь черное пятно...

— А количество холестерина по фотографии определить не можешь?

— Рад, что тебе весело.

— Извини, по привычке. То, что я вижу на экране, это твоя квартира?

Гришка, казалось, говорил из какой-то подсобки — голая беленая стена, невольно ищешь швабру с ведром.

— У меня свой дом. Он довольно просторный, потому что теснота угнетающе действует на душу. Конечно, только на недостаточно зрелую. Душе, установившей прочный контакт с духовным миром, просторно даже в келье. Но я до этого еще не дорос. Зато научился обходиться без мебели. У меня есть кровать, письменный стол, на нем компьютер, затем кухонный стол, два стула. Раньше ко мне приходила подруга с ночевкой, она спала на надувной кровати.

Взгляд его зафиксировался на чем-то внизу, как будто он читал по бумажке.

Пукх... Лопнуло второе. Ладно, лишь бы вода не залила огонь, но вроде бы не должна, он налил, чтобы только прикрыть белые макушки.

— Я трачу деньги лишь на самое необходимое. Подруга — это роскошь. Она могла бы меня на двадцать два года, с какой стати она будет со мной спать бесплатно? Никаких сюсюканий, никакой ревности — добровольный обмен равноправных партнеров. Мне нужен секс, ей нужны деньги. Она тратит на меня ровно столько времени, сколько это предусмотрено контрактом. Это зрелые отношения. Между нами практически нет лжи, обмана. Мы хорошие партнеры по бизнесу. Кроме того, мы не идеализируем друг друга. Мы хорошо видим и недостатки, и достоинства друг друга. И нас это сближает. Но нет никакой привязанности. Мы не скучаем друг по другу. Теперь я даже встречаюсь с ней в мотеле, чтобы можно было прервать встречу, когда мне удобно.

— И... А чем она в остальное время занимается?

— Не интересовался. Она мулатка, из гетто. Знаю, что подрабатывала проституцией, возможно, и сейчас подрабатывает. Она честно предупреждает, что без презерватива лучше не пробовать. На всякий случай.

— А ты помнишь Лариску Вершикову?

Миниатюрная Лариска, едва достававшая Гришке до подмышки, вечно сменяла за стремительным Гришкой хвостиком, и разбитной доцент, занимавшийся семейными отношениями, предлагал им поставить зачет-автомат, если они хотя бы объяснят, как у них это получается. Получалось, видимо, неплохо: после Гришкиного отъезда Лариске пришлось сделать аборт, и вся она надолго словно бы ссутулилась, отсырела и покраснела вплоть до миленькой бульбочки на кончике ее носа хорошенькой Буратинки. Пока ей казалось, что Гришка ее любит, она и сама была в себя влюблена, говорила о себе: «Ах, я глупышка!» — если что-нибудь путала. А когда Гришка ее бросил, она так и до сих пор не распрямилась, а бульбочка не побелела. Теперь преподает психологию искусства в каком-то изысканном лицее, где «золотая молодежь» чуть ли не гасит об нее косяки, но она все равно верит в облагораживающую силу красоты, берет пример с Ван Гога.

— Помню, конечно, а что?

— Просто так. Интересно.

— Просто так я ничего не вспоминаю. Это незрелые личности живут прошлым. А зрелым интересно только то, что есть в реальности.

— А духовный мир есть в реальности?

— По большому счету только он и есть. Для зрелой личности все остальное лишь налог. Мы платим его материи, чтобы общаться с духом. Естественно, с налогов все стараются списать побольше, этим в Америке целые фирмы занимаются.

— Понятно, Лариску ты списал...

На круглом лице — очков нет, видимо, заменил линзами — снова проступило терпение:

— Если ей что-то нужно — денег или еще чего-то, ты скажи, я помогу. Если смогу. Но зрелые личности терпеть не могут пустого кудахтанья. Если ей нужны деньги, скажи, пару тысяч баксов я могу выслать хоть сейчас.

Говорит без всякого раздражения, скорее со скукой: вам-де хоть толкуй, хоть не толкуй.

— Не все же сводится к деньгам...

— К ним почти ничего не сводится, деньгами можно только откупиться от материальных забот. Когда я попал в Америку, я очень скоро обнаружил, что только и думаю, чем заплатить за квартиру да как продлить вэлфер... Это было такое отчаяние, что мне ничего другого не оставалось, как прорываться в иные миры.

С кухни послышалось легкое звонкое потрескивание — значит, вода выкипела, и теперь трескается эмаль. Но Гришка только-только начал раскрываться...

— Ты имеешь в виду религию?

— Религия лишь грубая человеческая попытка выразить непостижимое. Ты заметил, что образ материального мира с веками становится все подробнее и точнее? А образ мира духовного все неопределеннее. Сначала верят в него все и населяют его множеством духов и божеств с конкретными свойствами и именами. А сейчас в него верят только избранные и видят в нем нечто невыразимое. Религия была дана людям, чтобы они имели самое начальное представление об истинной природе мира, чтобы подготовить их к собственной духовной работе. Но они тут же отдали религию жрецам и начали ее использовать для устройства земных делишек.

— Один святой, забыл, как его зовут, говорил, что просить у Бога золота все равно что просить у царя навоза, — ладно, черт с ней, с кастрюлей.

— Неплохо сказано. Да, они просят навоза. На всех курсах, где меня обучали контактам с духовным миром, мне попадались проходимцы. Они утверждали, что используют духовные контакты для практической пользы. Но я им не верю. Не только потому, что мне самому это не удастся. Но потому, что цель духовного развития не в достижении земного успеха, а, наоборот, в презрении ко всему земному. Я это сразу понял. Во мне началась страшная борьба между желанием узнать духовную правду и отвращением к тому, как ее понимают нормальные, типичные люди. Мне нужно было прорваться сквозь горы дерьма к чистой, не искаженной человеческой низостью правде. Но при этом я купился на рекламу, на обещание, что моя жизнь станет более радостной и осмысленной. А на деле я испытывал постоянное ощущение, что я работаю впустую. При том, что работал я иступленно. Хотя трудно объяснить, в чем эта работа заключалась. Но я знал, что я честно делаю уникальную работу, а моя жизнь к лучшему не меняется. И я орал на Бога: я хочу видеть плоды моих трудов, где они?! В результате я озлобился на Бога и повернулся к нему спиной.

Савелий Савельевич уже вполне уверился, что имеет дело с пациентом, и старался лишь почтительным вниманием прикрывать свои мысли, пытаясь не прислушиваться ко все более и более звонкому потрескиванию.

Гришка, однако, в его почтении не нуждался. Он ненадолго ушел в себя и вышел, заметно просветлевший.

— Я долго мучился, пока не понял: даже если ты отворачиваешься от Бога, он все равно не отворачивается от тебя. И я обратился к духовным силам уже со вполне обдуманном иском — на капризы они не обращают внимания. Но я задавал обдуманные вопросы, и мне на них отвечали.

— Как отвечали, ты слышал голоса? — главное, чтобы в голосе не прозвучало недоверия, один лишь неподдельный интерес.

Кажется, ему это удалось, хотя на кухне что-то еще раз лопнуло.

— Нет, просто я через некоторое время понимал, что мне ответили. И в конце концов там признали мою правоту. И открыли мне, для чего я послан в этот мир.

— Круто. И для чего же? — только неподдельный интерес, кастрюлю списать и забыть!

— Быть проводником между людьми и духовным миром. Когда мне это открылось, я понял, что меня вели с самого моего рождения. Я всегда чувствовал, что мне скучно то, что другим нравится, я надоедал родителям вопросами, зачем мы живем... А их это раздражало, они хотели видеть своего мальчика счастливым. Зато когда я стал счастливым, их это начало раздражать еще больше. Мать до сих пор не может мне простить, что я не приехал на похороны отца. Но Иисус сказал же: предоставь мертвым погребать своих мертвецов. Я же послал денег. И матери оплачиваю сиделку, а она хочет, чтобы я оставил свою духовную школу и приехал ее развлекать... Враги человеку домашние его. Что из того, что она парализована? Для зрелого человека это не имеет никакого значения.

— Ясно.

На минуту он забыл и думать о кастрюле.

— Что тебе ясно? Ты наверняка думаешь, что я престаю идеалы сыновней преданности, черта в ступе, но у обычных людей идеалы до того примитивны, что лучше бы их у них вовсе не было!

В Гришкиных черных японизированных глазах сверкнуло что-то грозное: глаголом жги сердца людей...

Неужто и Гришка во пророках?..

— Я сам проповедую освобождение от идеалов, заземление. Ты же мне Фрейда и открыл. Но я вижу, что через небо заземлиться можно еще круче.

Гришка немного смягчился.

— Я понимаю твой сарказм, но духовная жизнь только на поверхностный взгляд «негуманна», — Гришка терпеливо изобразил кавычки длинным движением сверху вниз среднего и указательного пальцев обеих рук; изображение, кстати, было очень четким, духовный мир и здесь шел Гришке навстречу. — Просто духовные ценности принципиально отличаются от обычных человеческих. В духовной жизни нет привязанностей, зато есть истинная, зрелая любовь и духовная связь. Хотя тем, кто далек от духовного пути, это может показаться холодностью. Обычные люди похожи на детей. Им нужно, чтоб о них заботились, ими интересовались, им нужно знать, что мама всегда рядом, что всегда кто-то может их защитить, успокоить, приласкать... Зрелому человеку это не нужно, это будет его только тяготить, ограничивать его свободу. Ему нужны равные и свободные отношения зрелых людей. Эти отношения включают и любовь, и физический контакт, и общение, но по-другому. Так что путь в духовную жизнь — это путь взросления, избавления от детской психологии. Но люди взрослеют с разной скоростью. Из-за этого в моей духовной школе много разводов — из-за расхождения общечеловеческих и духовных ценностей. Муж уже пришел к духовным, а жена все еще любит сюсюкать, лизаться... Меня в Лариске это с самого начала раздражало: как ты спал, ты покушал?.. Только я тогда еще был склонен обвинять себя: перед всеми-то я виноват — и папу не люблю, и маму не люблю, теперь еще и невесту не люблю... Но я уже в детстве чувствовал, что я не от этого мира, это не мой мир. Мне в нем неуютно. Зато теперь я знаю, что есть другие миры, где я чувствую себя как дома.

На кухне что-то звонко лопнуло, потянуло дымком. Но невозможно же прерваться на такой высокой ноте; гореть на кухне вроде бы нечему, потом можно будет проветрить.

— Ты же был большой любитель всяческих художеств, Толстого обожал?..

— Пытался хоть куда-то укрыться, подальше от вашей земли. Но сейчас Толстой меня просто смешит. Воображает себя духовным мыслителем, а самого интересуют ничемнейшие мелочи скучнейшей человеческой жизни. Теперь книги так называемых реалистов годятся для меня в качестве учебных пособий, не более того. Тон-

чайший анализ мусора, великолепные иллюстрации психического расстройства, в котором пребывает человечество. Особенно так называемое цивилизованное.

— Но ты же еще постоянно слушал музыку, мы с тобой ходили на все кино-фестивали...

По части кино тогдашний Савик смотрел на тогдашнего Гришку с особым почтением: тот был допущен еще и на какие-то закрытые просмотры в Доме кино. Выходят они, бывало, с какого-нибудь Феллини или Бергмана, Савик в почтительном трепете, а Гришка снисходительно кивает: да, Феллини кое-что может, но когда Фужита привез в Канны свою «Телегу», все сразу поняли, что такое чувство кино, да, Бергман для своего времени был неплох, но когда Варгас привез в Венецию свой «Асфальтовый дождь», всем стало ясно, что такое настоящее чувство кино...

И хоть бы одно знакомое имя! А с высоты духовных миров наверняка и вовсе...

Да, разумеется.

— Музыка, кино — это так мелко и скучно в сравнении с духовными мирами...

— А живопись?

Сизая дымка нарастает...

— Как и все здешнее. Хотя всегда существовали живописцы, которые видели что-то неземное. Наверняка Чюрленис был одним из них. Одилон Редон. Хотя они сами не понимали, что им открывается.

— Извини, пожалуйста, я на звонок отвечу и тут же вернусь, — он не мог признаться, что разговор о высоком готов променять на какой-то кухонный мусор.

Белые пятна на божьей коровке почернели, а взорванные яйца обуглились и сужились, но дым удачно выносило в открытое окно. Хорошо, что день был жаркий, вот только бы соседи не вызвали пожарную команду.

Он порадовался, что не поддался порыву плеснуть в кастрюльку воды, иначе бы не так бабахнуло, и поспешил обратно к экрану.

— Извини, звонил суицидент, нельзя было не ответить.

— Я удивляюсь, почему в вашем мире еще не все покончили с собой. Это же не жизнь, а тоска. Пока я не открыл духовный мир, я все время думал о самоубийстве.

— Но ты же когда-то мечтал о путешествиях?.. Помнишь, у тебя вся комната была обклеена Парижами и Флоренциями?

— Я ни разу не был в Европе, города меня совершенно не интересуют. Но через пустыни, через океан иногда что-то приоткрывается. Хотя через медитацию путь к духовным мирам гораздо более прямой.

— Да-а... Не знаю, что и сказать. А, вот. Мой тесть, как ты его называешь...

— А он разве не тесть?

— Тесть, тесть, но это слово к нему очень не подходит. В общем, он рассказывал по телику, как какие-то святые побывали в нездешних мирах и там был сплошной ужас, демоны и все такое. Ты его тоже испытал?

— Это очень индивидуально. В своей школе я для каждого набора провожу один класс об ужасах прошлых жизней. Кого-то сажают на кол, кого-то терзают звери, кого-то пытаются... Большинство видит эти ужасы как бы со стороны. Хотя некоторые испытывают реальный шок. Правда, их очень мало. Но, опять же, это всего лишь погружение в земные жизни. Путь в духовный мир начинается с медитации, с ухода от земного. Хотя первые мои образы были чисто земные: какие-то пейзажи, люди... Только в школе экстрасенсов я начал видеть неземное. А до этого какое-то время увлекался образом Авраама. Он разрывался между верностью Богу и любовью к людям. Я видел, как он упрашивает Бога пощадить город ради десяти праведников. А однажды в медитации я соединился с Моисеем, когда он был еще совсем маленьким, его брал на руки верховный жрец Египта. У жреца на шее было

латиновое кольцо с огромным синим сапфиром, это очень усиливает горловую чакру. И маленький Моисей схватил сапфир своей крохотной ручонкой — как все дети. И верховный жрец улыбнулся. У него было хорошее, умное лицо... Твой интерес к таким историям тоже детский, мне они уже давно не интересны. Хотя одна запомнилась.

Гришка посуровел и опустил глаза. Взгляд его застыл, а голос зазвучал чуть ли не октавой ниже.

— Я видел, как отшельник разговаривает с герцогом. Отшельник в грубой вла- сьянице, а герцог в роскошных шелках, на раззолоченном троне, вокруг придворные со шпагами, все ужасно пышно... Пол очень красивый, мозаичный... А отшельник стоит на этом полу с огромным достоинством и разговаривает с герцогом совершенно на равных. И...

Гришка замолчал.

— И что?.. — осторожно спросил Савл после приличествующей паузы.

— Его сожгли, — с трудом выговорил Гришка, и у него вырвалось рыдание.

Разговор прервался. Поколебавшись, он набрал Greg'a Bird'a снова, но зеленый огонек рядом с его именем уже пожелтел, и, как показало будущее, навсегда.

Надо же, что его единственное растрогало — отшельник...

А своего друга Савика-Савла он явно никогда и не вспоминал. А вот он — и Савик, и Савл, и Савелий Савельевич — часто думал о Гришке: где он там, как он там, какая славная у них была дружба — выставки, фестивали, разговоры о высоком...

Когда все земное представляется человеку мусором, это впечатляет: какая вы- сота духа! Но когда в мусор попадаешь ты сам... Как-то немножко обидно.

Да-а... От духовных миров пощады, видать, не жди...

А ведь Фрейд еще когда сорвал с веры главную маску, раскрыл, что Бог — всего- навсего образ отца, тирана и вместе с тем защитника.

Савик впервые заметил, что отца побаиваются даже большие, когда они ехали к месту его новой службы на китайскую границу.

Поезд долго молотил по пустыне, похожей на пересохший строительный двор, весь вагон истекал потом, но отец все равно отправился квасить к каким-то мужи- кам, и он был этому рад, потому что рядом с отцом всегда было напряженно. Мате- ри тоже, но стоило отцу где-то задержаться, как она начинала дергаться, куда он подевался, и с этой женской логикой ничего поделывать было нельзя. А ведь перед гла- зами в одном с ними купе ехал пример, до чего приятно можно жить, если жить с умом. Невозмутимая киргизка, ничуть не озабоченная тем, что ее выпуклые скулы лежат в одной плоскости с примятой переносицей (на Псковщине Савик таких не видел), лежала на нижней полке с точно такой же маленькой дочкой, и дочка узень- кими черными глазками из-под тугих век, натянув его стрункой, разглядывала чер- ный, будто бы конский волос так внимательно, что хотелось разглядывать его и раз- глядывать вместе с ней.

Киргизка с ним еще и заговорила как с большим:

— Ты что хочешь делать, когда вырастешь?

Спросила так серьезно, что и он ответил доверительно:

— Я хочу, чтобы меня по телевизору показали.

— О! — уважительно сказала она. — Ты будешь знаменитый человек.

Он бы еще эту тему поперетирал, но мать все нудила и нудила: пойди позови, пойди позови, — ее-то отец точно обругал бы и погнал обратно, а сынишку иной раз мог хоть и обругать, но все-таки послушаться.

Отец с мужиками о чем-то орали в тамбуре и заметили его не сразу. Зато он прекрасно разглядел, что каждый, в кого отец упирался мутным взглядом, скучнел и отводил глаза. Хотя отец там был меньше всех в своем алом, как пионерский галстук, тренировочном костюме с разорванной молнией на груди, мама и то казалась его крупнее и мясистее, Савик пошел в нее. Но он и тогда, и потом всегда замирал, когда отец обращал к нему свои белые глаза, сощуренные, словно в последнем градусе бешенства, и так же бешено стиснутый рот, похожий на рубец от топора.

Высадились они со своими скудными вещичками в городке, который отец называл Халды-Балды (три шеренги бетонных пятиэтажек, окруженных домишками, едва проглядывающими сквозь густейшие сады), а до щитового военного городка за колючкой в долине меж заросших гор их довез уже зеленый военный грузовик.

Служили здесь по-домашнему; когда отец уходил в дозор, Савик носил ему суп в бидончике в сторожку на горе, где отец сидел с военным телефоном в коричневом чемоданчике с заводной рукояткой. Отец никогда не говорил ни спасибо, ни здравствуйте, ни до свидания, только спрашивал: «Принес?»», а потом напутствовал: «Смотри, с тропинки не сворачивай!» Отец знал, о чем предостерегать — тропинку кто-то протаптывал, будто насмешки ради: она то поднималась вверх, то вдруг сворачивала вниз, то заставляла петлять среди густейших кустов, норотивших царапнуть по голым рукам или ногам (среди тамошней жары мальчишки почти все ходили в одних трусиках и майках, а то и без), когда рядом лежала большая наклонная поляна, по которой можно было очень долго идти напрямик к отцовской сторожке. И однажды Савик не выдержал — срёзал.

Сначала все шло хорошо, только длинная трава путалась в ногах и даже немножко резала икры. Но когда до отцовской будки оставалось вроде бы не так уж далеко, перед ним выстроилась длинная шеренга колючих кустов; прикинув, где ближе, он обогнул их справа. Следующую шеренгу пришлось огибать слева. У третьей не было ни начала, ни конца, пришлось, прикрыв глаза сгибом локтя, продирается сквозь кусты метров двадцать, уже не обращая внимания, что злобные шипы, кривые, как акульки плавники, безжалостно рвут его одежду и кожу, и он даже не заметил, где и когда пропал его бидон. Так и пошло: он выбирал в кустах места пореже и продирался сквозь них, почти не замечая боли, настолько усилилась его тревога, уже готовая перейти в панику. Наконец он уткнулся в беспросветную чашу, у которой было не видно ни конца, ни края, пришлось поворачивать обратно.

Он двинулся обратно в том направлении, где, казалось ему, осталась тропинка, но и там приходилось то и дело менять курс, сталкиваясь с огромными скопищами кустов, продрасться сквозь которые было совершенно невозможно, хотя ему было уже давно наплевать, что вся его кожа в кровь исполосована, а майка и трусы висят лоскутами. Наконец, обмирая от счастья, он пробился через последние когти к чистой траве и чистому небу — и оказался на краю обрыва. Не такого уж высокого, с десятков метров, но с него бы и этого хватило. Внизу, будто вываленные из гигантского самосвала, валялись угловатые каменные глыбы.

Задышавшись и уже не боясь оступиться и загреметь на камни, он побежал вдоль обрыва туда, где, ему казалось, осталась тропа, — и замер перед новым обрывом, путь вдоль которого ему отрезало такое сплетение кинжальных когтей, какого он еще не видывал. Он бросился обратно, и наконец-то перед ним открылась идущая вверх спокойная зеленая поляна. Уже не пыхтя, а хрипя, он бросился наверх, яростно разрывая подлую траву, спутывающую ноги, — папина будка вроде бы приближалась. И тут он начал, не жалея последнего дыхания, твердить сначала про себя, а потом и вслух: Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги...

И снова уткнулся в непроходимое сплетение. Уже не в силах бежать, то и дело падая, хватаемый за ноги торжествующей травой, не в силах и бормотать, он только поскуливал: Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги, — когда бормочешь, все-таки не так страшно. И Господь помог: под ноги ему внезапно выпрыгнул узкий каменный желоб, круто устремленный вверх, к отцу. Дно желоба было выложено круглыми белыми булыжниками, по которым было подниматься куда легче, чем по проклятой, вяжущей ноги траве. Не помня себя от счастья, он прыгнул на булыжники и — и покатился вниз, тщетно стараясь ухватиться за трещины в каменных стенах.

Лишь каким-то чудом он догадался перевернуться на спину и растопырить ноги, как Иванушка-дурачок, которого Баба Яга пыталась на лопате посадить в печь, — только так ему удалось себя заклинить, да и то не сразу. Он долго лежал, не смея пошевелиться, и лежал бы еще, да только напряженные ноги начало сводить судорогой. Он осторожно приподнял голову и увидел под собой метрах в двадцати новый простор, и теперь он уже знал, что это такое, — обрыв.

Он не стал и пробовать выбираться из желоба, но лишь изо всех оставшихся сил завопил: «Папа, папочка! папочка! папочка! папочка!..» Он вопил и одновременно, докуда мог дотянуться, щипал себя за ноги в тех местах, где боль становилась особенно невыносимой. И самое ужасное — мир был безмерно огромен и совершенно пуст. Солнце жгло, небо сияло, коршуны кружились — и никому и ничему не было ни малейшего дела до того, что он вот-вот исчезнет, и оставалось только надрываться сорванным голосом: папочка! папочка! папочка! папочка!..

И папочка внезапно откуда-то пал коршуном. И Савик никогда не видел ничего прекраснее его бешеных белых глаз на багровой расцарапанной физиономии, светящейся из-под капюшона брезентовой плащ-палатки.

Ухватив Савика за руку и одновременно за шкуру, он без церемоний выволок его из желоба (Савик с трудом сдержал стон от боли в снова обретших чувствительность изодранных ляжках), поставил перед собою на ноги и заорал:

— Доумничался?! Кому говорили: не сворачивай?!

Отцовская ругань звучала в Савиковых ушах сладостной музыкой, он бы слушал и слушал, повторяя одними губами: спасибо, Господи, спасибо, Господи, но отец все-таки расслышал:

— Ты что, старуха что ли?! У матери научился?!

А потом покосился на его изодранные голые ноги и брезгливо буркнул, уже для себя одного:

— Ляжки жирные, как у бабы...

И счастье померкло, померкло...

Вот такой у него образ отца — сначала спасти, а потом размазать.

Савика с первого класса мучило, что он такой пухленький, что у него на руках вместо костяшек ямочки, а теперь он и на мать поглядывал с досадой: это же он в нее уродился, она тоже пухлая — понятно, это не может нравиться отцу, худому и жилистому, и он каждый раз испытывал облегчение, когда отца отправляли в затяжные командировки. Он видел, что и мать без отца веселеет, но когда тот возвращался, иногда с новой медалью, она так радостно к нему кидалась, что Савик опустил глаза: ему было стыдно, что ей совсем не стыдно за свое притворство.

А когда отца однажды привезли в гробу, цинковом, совершенно как корыто, мать не просто два дня прорыдала, всю душу ему изодрав, но на кладбище еще и стала биться головой о гроб, а он гремел, будто кровельное железо. И это было еще ужаснее, чем те часы — или это были минуты? — в желобе. Спасло его только то, что

внутри у него с самого начала все заледенело, и сквозь эту заморозку уже мало что могло добраться.

На поминки пришли не только прапорщики и лейтенанты, но даже один майор, и славословили отца, похоже, непритворно, хотя один из выступающих после слов «настоящий русский солдат» покосился на свою рюмку, куда ему подливали водку, и добавил: «Ничего, можно и побольше», что вызвало у пятнадцатилетнего Савика невольную улыбку, и тут же за ней оттаяли и слезы, но мать почему-то слез не заметила, а заметила только улыбку и, когда гости разошлись, принялась уныло его попрекать, и он наконец взорвался:

— Да ты же сама всю жизнь его боялась!

— Господи, — ужаснулась распухшая, словно обваренная, мать, — не слушай его! Отец тебя на свет произвел!

— Я его не просил меня производить! Он для меня, что ли, это делал?!

— В кого ты только уродился! Папочка роденький!

— Так чего ж ты от меня хочешь? Его же ты не воспитывала, вот и меня не воспитывай!

Мать снова зарыдала, упав лицом на стол с грязной посудой, которую сама же не позволила вымыть офицерским и прапорщицким женам (и правильно сделала, потому что у него уже не было сил «держатъ лицо»), и он принялся ее утешать и просить прощения почти с ненавистью, потому что совершенно не чувствовал себя виноватым, но мать это вполне устроило, и когда она в Халды-Балдах начала по целым дням пропадать в церкви, а дома перед невесть откуда взявшимися небольшими иконками принялась каждый вечер падать на колени, тыкаться лбом в пол и каяться в поступках, за которые совершенно точно не могла чувствовать себя виноватой, ему пришло в голову, что она и Бога представляет кем-то вроде себя: неважно, искренне или притворно — главное, чтоб ты произнес нужные слова.

После гибели отца им дали пенсию, однокомнатную квартиру в хрущевке, мать устроилась уборщицей в больницу, — можно было жить, кабачки, помидоры, яблоки, вишня, урюк в Халды-Балдах ничего не стоили, и в школе у Савика дела почему-то пошли на удивление хорошо, он что-то стал все очень легко понимать и запоминать. Что значит, освободился от страха перед земным отцом, а что будет, когда люди освободятся от страха перед отцом небесным? Ему и в школе стало больше нравиться, чем дома, где мать все время крестилась на иконки да к каждому слову прибавляла: Господи, прости, Господи, помилуй, Господи, помоги...

У Савика нарастало чувство, что Бог отнял у него мать, и однажды в маленькой городской библиотечке он взял тоненькую книжку с полки «Научный атеизм». Книжку явно никто до этого не открывал, и ясно почему — там все было до ужаса противное: целуя иконы, люди заражались сифилисом и туберкулезом, младенцев крестили в ванночках, в которых вода была желтая от выделений... Так что когда он наконец решился зайти в небольшой деревянный дом с кладбищенским крестом на крыше, чтобы наконец понять, каким там медом для матери намазано, то внутри ему стало прямо-таки жутко: странный запах, в котором ему заранее почудился туберкулез и сифилис, отчужденные безжалостные лица на огромных иконах, жуткий полумрак, только огоньки вьются, старухи, старухи припали к полу и, кажется, сейчас поползут...

Да какие у них такие могут быть грехи, чтобы так ползать! И стоит ли прощение такого унижения?.. И кем должен быть тот, кто готов его принимать?.. Мать, похоже, представляла его по своему образу и подобию: неважно, искренне или притворно, лишь бы положенные поклоны были отбиты. Но как можно любить такого отца, хоть земного, хоть небесного?..

Он с трудом вынырнул из зябкой халды-балдинской жути в питерскую жару и в который раз заново понял, почему у них, у церковников, главным пороком считается гордость.

Что страшнее — ни на что не надеющийся приговоренный, гордо или покорно идущий навстречу казни, или надеющийся на прощение и ползающий перед судьей на брюхе? Ползающий ему тогда казался бы страшнее. Да, пожалуй, и сейчас. Это, видно, и есть та самая сатанинская гордыня. И он, стало быть, не кто иной, как Антихрист.

Эта мысль его позабавила: Антихрист — это круто.

В антихристы мать его задвинула, когда они, задыхаясь, досеменили до приемного покоя и рухнули, прямо перед материнной шваброй, с Мирохой на руках, переплетенных, как их учили на занятиях по «гробу» — гражданской обороне. И мать, увидев, что Мирохины штаны отяжелели от крови, как ее поломоинная тряпка от воды, чуть ли не умильно покивала: *ничего, Господь поможет*. Но не успела она замыть кровавую лужу на коричневой плитке, как уже не выбежал, а тяжело вышел пузатый хирург-грузин: «Ми его патэрали...»

— Ну что, помог твой Господь? — Савик обратился к матери с такой ненавистью, словно виновата была она, а не сам Мирошников, поспоривший, что острием своей только что переточенной из четырехгранного напильника финки перережет натянутую нитку (и перерезал, всадив фонарь себе в бедро).

— К себе его забрал, — не столько грустно, сколько умильно потупилась мать, и тут, на работе, в своем черном платке, как будто заранее надела. — А может, наказал за что.

Как он только не залепил ей по уху!..

— А мать его он за что наказал?! Отца?!

— Господь каждому дает крест по силам.

Видно, в лице его мелькнуло что-то такое, что хирург поспешно стал между ним и матерью. Но это было уже лишнее: он понял, что перед ним не мать, а чужая безжалостная тетка. И отношения у них после этого внешне даже улучшились — он ее просто вычеркнул из тех, кто ему хоть чем-то близок. И деньги впоследствии посылал, будто налог платил, и сейчас следит по скайпу, хорошо ли ухаживает российская военная база за могилой прапорщика-интернационалиста и его жены, но простить ее все равно не может. И забыть Мирошникова тоже: им с Мирохой как будто особенно нравилось друг в друге, что они во всем противоположны — толстый и тонкий, серьезный и смешливый, умный и остроумный... Он даже на его похороны не осмелился пойти, не мог видеть Мироху присмирившим.

Вместе с той роковой ниткой оказалась перерезана всякая его связь не только с матерью, но и со школой, и с городком. Но вот во сне он снова утыкается в материнские колени и плачет, плачет, как маленький...

Подсознание не обманешь.

Хотя он с матерью не примирился, даже видя ее в гробу: она была такая благостная, как будто наконец достигла, к чему стремилась.

Может, он и правда чересчур принципиальный? Мать рассказывала, что совсем маленький, он даже этого и не помнит, он со слезами тыкал пальчиком в малейшее пятнышко на штанишках: грязь, грязь!! А как его дразнил отец, это он уже помнит — показывал на красное яблоко и говорил: смотри, зеленое. И он исходил криком: класное, класное, класное!!!

Может, стремление к правде и чистоте необязательно навязано идеалом и чувством вины, а иногда, наоборот, идеал сам рождается из этого стремления?.. Может, таких-то прирожденных идеалистов и заносит в антихристы? Может, и Христос

был из таких, если только он был? Отец Павел в своих брюссельских книжках на разные лады повторяет, что евангелистам такой образ не придумать бы, уж больно они ничем больше себя не проявили, все, что у них от себя, очень буквалистично, мелочно: пошел туда, пошел сюда, называются какие-то мелкие городишки, случайные собеседники, чьи имена читателю знать совершенно не нужно...

Святой отец нашел очень хитрый прием — при случае вворачивать, что всякое богоборчество — это в глубине богоискательство. С намеком, что и он, новый Савл, когда-нибудь превратится в Павла.

Нет, никак не удается представить, чтобы он мог склониться перед каким угодно идолом. У него и Фрейд в божествах походил недолго — та же, в сущности, религия, та же бездоказательность и замах на всеобщую теорию всего.

Ночевать ему пришлось отправиться наверх в квартиру тестя (у Симы психозик: вдруг папочка ночью откуда-то позвонит), хотя ужасно не хотелось уходить из домашнего тепла на холод вселенского безразличия. Но пустая квартира встретила даже не равнодушием, а готической жутью, враждебными ликами икон и странными звуками то там, то сям, как будто по квартире кто-то ходит. Вот так он и рождается, духовный мир...

Чистый Эдгар По.

Нет, его этими штучками они не возьмут, Савл он или не Савл? Он попытался заглушить выбивающуюся из-под контроля фантазию телевизором, но все, что раньше развлекало — убийства, привидения, — сейчас воспринималось совершенно серьезно. Таинственные же звуки телевизор не только не заглушил, но, наоборот, заставил вдесятеро более обостренно к ним прислушиваться: не упустил ли чего?..

Почитать, что ли, книг целые стены, но половина на иностранных языках (есть и с неприятным готическим шрифтом), да и русские чересчур уж глубокие, сплошные Достоевские да Толстые, да все полнейшими собраниями, а он чувствовал, что глубину сейчас лучше не колыхать, она и так слишком разыгралась.

Щелк! И тут же: щелк-щелк-щелк... В туалете кто-то прямо затеял фехтование на палках. Замирая, он рывком распахнул дверь. Поперек просторного сортира косяк лежала швабра, сорвавшаяся со стены. Ну все, хватит!

Он решительно и даже вальяжно уселся за огромный письменный стол отца Павла, по-хозяйски отодвинул фиолетовый, расширяющийся сверху цилиндр, кажется, камилавку. У малайского извилистого ножа для разрезания бумаг, криса, кажется, прежде чем отложить, почтительно потрогал игольно острый кончик. И лишь затем начал просматривать беспорядочно разбросанные по зеленому сукну книги: настырная оперативница их перетряхивала на предмет, нет ли там вложенных записок, а уложить обратно в стопочку сочла ниже своего достоинства.

Ближайшая называлась «Цветочки Франциска Ассизского» — не толстая, но увесистая, в отлично сохранившемся сиреневом переплете (сафьяновом что ли?), с отписанными изысканно порочными цветами (ирисами?), похожими на водоросли. Страницы были глянцевые и толстые, переворачивались, будто картон. Если справиться с соблазном читать «ять» как «ь» или «ъ», то читается без усилий.

«Над ним издевались, как над умалишенным, его изгоняли отовсюду и избегали общения с ним, его не пускали на порог. Его забрасывали камнями и грязью, когда он проходил мимо; но он уже стал на свой путь, принимая эти оскорбления и побои с таким смирением, как если бы он был глухой и немой. Тогда Бернард из Ассизи, один из богатейших и образованнейших дворян города, стал глубже вдумываться в поведение святого Франциска; как сильно он презирает все мирское, как терпеливо он сносит несправедливость и насколько прочной остается вера

его, хотя он в течение двух лет был предметом оскорблений и презрения со стороны всех горожан. Он принялся размышлять и сказал сам себе: „Очевидно, что на брате сем почиет великая милость Божья“».

Хороша милость...

«Он избрал именно меня, дабы уничтожить и знатность, и величие, и силу, и красоту, и мудрость мира сего, дабы знали люди, что всякая добродетель и всякое благо от Него, а не от твари».

Доброе дело — уничтожить все, что придает миру прелесть. Во что же эти блаженные превратили бы жизнь, дай им волю?..

Хотел захлопнуть (но бумага-то, бумага — и через сто лет не рассыпается, наоборот, как-то отвердела и облагородилась), но оживший исследовательский зуд не отпускал: извращенцы — это лупа, сквозь которую непременно разглядишь что-то важное.

«Всякий во власти своей имеет врага, то есть тело, которое грешит».

Вот оно! Тело — это враг! Понятнее некуда — кто не испытывал ненависти к телу, у которого подкашиваются ноги, когда тебе нужно бежать, которое тащит тебя в сортир, когда ты хочешь блеснуть, и, самое с его стороны подлое, которое болеет, стареет и умирает. Конечно, хочется его повергнуть в рабство, чтоб оно не сме-ло и пикнуть...

Пока не заметишь, что твое тело и есть ты, что, умерщвляя плоть, умерщвляешь себя.

А это даже забавно: «Мои сестрички птицы, вы принадлежите Господу, вашему Создателю, и вы должны воспевать ему хвалу всегда и везде, ибо Он дал вам свободу летать повсюду. И хотя вы не ткете и не шьете, он дает вам вдвое и втрое, одевая вас и ваших деток. Две породы из всех вас он послал в Ковчег Ноев, дабы вы не исчезли из мира. Кроме того, он питает вас, хотя вы никогда не сеете и не пашете. Он дал вам источники и реки, дабы утолить вашу жажду, горы и долины, дабы дать вам убежище, и деревья, на которых вы строите ваши гнезда. Ибо ваш Создатель очень любит вас, одаряя вас с такой щедростью. Опасайтесь, сестрички мои, греха неблагодарности и всегда стремитесь воздавать хвалу Богу». Особенно за ястребов и коршунов.

Но эта ахинея чем-то завлекала, прямо отрываться не хотелось.

«И Святой так говорил ему: „Брат волк, ты делаешь много зла в этой стране, уничтожая и губя творения Божьи без Его соизволения, и ты не только умерщвлял и пожирал животных, но имел дерзость убивать людей, созданных по подобию Божьему, за это ты достоин виселицы, как разбойник и злейший душегубец, и весь народ ропщет против тебя, собаки преследуют тебя, и все жители тебе враждебны. Но я хочу, брат волк, устроить мир между тобою и ими, чтобы ты не обижал их больше, а они простили бы тебе всякую прежнюю обиду, и чтобы ни люди, ни собаки не преследовали тебя“. Слушая эти слова, волк склонил голову и движениями тела, хвоста и глаз выражал согласие с тем, что говорил святой Франциск. И святой Франциск продолжал: „Так как ты согласен заключить этот мир, то я тебе обещаю, что люди этой страны будут питать тебя каждый день, пока ты будешь жить между ними, так что ты никогда не будешь страдать от голода, ибо я знаю, что ты с голода делал все это зло. Но если я добьюсь всего этого для тебя, ты должен обещать, со своей стороны, никогда больше не нападать ни на животных, ни на людей. Обещаешь ли ты это?“ Тогда волк склонил голову в знак того, что он согласен».

Дальше понятно, волк превращается в ягненка. Непонятно только, почему бы всех волков на все будущие времена не превратить в ягнят.

Он заглянул в конец.

«Во славу Иисуса Христа благословенного и Его бедного слуги Франциска. Аминь».

Однако ниже, на пустой половине страницы что-то было написано мелким ровным почерком, похожим на клинопись, — Савлу давно чудилось, что и почерк свой отец Павел специально разработал, чтобы закосить под выходца из Древнего Востока. Но читалось легко.

Меня часто спрашивают, почему христианство культивирует страдания: ведь если страдания спасительны, то их нужно доставлять и ближним, и дальним как можно больше. И я всегда отвечаю: христианство ненавидит страдания и борется с ними. Но пока человек считает, что он и его тело одно и то же, он не может не страдать. Ведь почти все сигналы, которые посылает нам тело, это сигналы боли — там жмет, там трет, там жжет... Голод, жажда, тычки, побои, пожары, болезни, бомбежки...

И кажется, нет ничего убедительнее, чем боль и страх. Наивные позитивисты и считают нашу неспособность противиться боли главным доказательством чистой телесности человека: ведь достаточно продолжительная пытка заставляет нас забыть обо всем высоком, значит, высокое ничего не стоит. Они не замечают лишь одного: пытка не обнажает, а убивает человеческую суть.

Душа нашептывает нам: есть добро, есть достоинство, а тело глумится: есть голод и страх. Душа умоляет: есть правда, есть справедливость, а тело кричит: есть огонь и меч. Душа надеется: есть вечная жизнь, а тело стонет: есть старость, язвы, опухоли, гниение...

И душа сникает под напором того ужаса и безнадежности, на которые ее обрекает тело. И что же ей дает хотя бы проблеск надежды? Проблеск надежды ей дают те люди — редчайшие люди! — для которых тело ничего не значит. Только для этого и нужны святые, подобные святому Франциску: они защищают душу от тирании тела, они зарождают в нас надежду, что мы и наше тело далеко не одно и то же. Они показывают нам, что мы гораздо сильнее, чем нам кажется.

В этом я и вижу задачу Церкви — в защите души от тела. Мы должны пробуждать в душе веру в собственные силы. А в этом, пожалуй, и есть источник всякой веры.

А почему бы, спросят меня, не защищать тело от души? Отвечаю: тело и без того не даст себя в обиду. Если говорить не о штучном, а о массовом производстве веры. Массовому человеку уж никак не угрожает чрезмерная духовность. И я считаю стремление отделиться от всего «низкого», «мирского» изменой христианскому идеалу: наше дело не отделять небо от земли, но, напротив, насыщать небесным содержанием все без исключения уголки земного.

Ого, опять промыслительно... Святой отец и впрямь более чем неглуп.

«Но почему он никогда не разговаривал со мной всерьез?.. — с детской обидой подумал пробудившийся в Савле Савик. — Да ясно почему — не хотел метать бисер. Понимал, что я не стараюсь что-то понять, а хочу только подловить. А его хрен подловишь. Хотя кто-то вот подловил же... Но так, наверно, никогда и не узнаем кто. Может, и простой советский Альцгеймер — забрел куда-нибудь в лес...»

О, вот с чего надо было начать — глянцевая брошюрка «О блуде». Автор какой-то архимандрит — знать бы еще, что это такое. На обложке, правда, блудный сын на коленях, это же вроде бы про другую блудность?.. Ага, а вот это как раз про это.

«По предсказаниям многих святых отцов, одним из характерных признаков кончины мира будет повсеместное и ужасное засилие разврата, гнусной плотской распущенности, неукротимого сладострастия». И все это, оказывается, мы уже имеем.

Уж прямо-таки из-за трения слизистых оболочек земная ось пошатнется! И что им далось это сладострастие? Прямо страшнее кошки зверя нет. Не зависть, не

жадность, не трусость, не злоба, а невинное сладострастие обрушит небосвод! Почему они именно этот порок избрали главным? Не иначе, потому, что остальные мучительны, а он приятен. А ничего приятного на свете быть не должно. Оттого-то главный ужас им и внушают не войны, не голод, а голые девки.

Это ж как надо по ним изголодаться!

«Из всех плотских движений, из всех наших земных вожелений — блудное похотение есть самая сильная, самая властная страсть». Не голод, не жажда, не честолюбие, не инстинкт самосохранения, в конце концов — *похотение!*

Неужто святой отец это оставит без ответа? Он с некоторым даже нетерпением перелистал странички из газетной бумаги и просто-таки обрадовался, увидев под последним проклятием («Горе тому человеку, через которого соблазн приходит!») родную клинопись. Хватит прятаться от самого себя — он с первого дня желал уважения и симпатии тестя, но боялся себя уронить, если что-то сделает, чтобы понравиться своему идейному врагу. На словах воевал с идеями, а на деле служил. Своей.

Идее или гордыне?

Но так что там у тещушки насчет похотения? Он что-нибудь, кстати, в этом понимал?

Я думаю, что стыд тоже защита души от тела. Нам не хочется открывать то, что сближает нас с животными, а секс сближает, как ничто другое. Не только самими манипуляциями. Гораздо важнее то, что, обладая женщиной, мужчина не помнит, кем именно он обладает, ощущает только тело. И ласкает в нем только те части, которые возбуждают его самого. А значит, это вовсе не ласки, а та же мастурбация, только орудием мастурбации выступает женщина.

Ишь ты, святой отец, понимал, значит, кое-что.

Но что еще важнее, лишь соединение любви-нежности, любви-заботы с плотским влечением рождает преданность такой силы, что любимый человек начинает ощущать себя едва ли не центром вселенной. Пускай хотя бы для одного смертного или смертной. Но эта любовь одного или одной настолько важна для нас как ЕДИНСТВЕННОЕ доказательство нашей значимости, нашей избранности, уникальности, что потеря этой любви и сегодня остается главнейшей причиной самоубийств. Мы бы изнемогали от тоски, если бы не были хотя бы для кого-то единственными и незаменимыми. Сексуальная же революция, борьба за равенство с животными делает нас заменимыми, а потому несчастными. Она вовсе не раскрепощает, а убивает любовь.

Савл осторожно прикрыл брошюрку и отодвинул ее подальше. Еще немного, и он тоже начнет верить в этот бред — что это подsunуто ему какой-то высшей силой. Однако рука сама собой потянулась к последней тонюсенькой брошюрке с совсем уже жизнеутверждающим названием — «О младенцах, преждевременно похищаемых смертью».

Начиналось очень уж издалека: «Свт. Григорий Нисский (335–395) — один из трех великих отцов-каппадокийцев...» — он не стал дочитывать, перевернул страницу. «Григорий, ставший в 372 году епископом города Ниссы...» — еще раз перевернул. «Сам Гиерий в решении этого вопроса пришел к дилемме: или младенцы мучатся, или блаженствуют, но выбора одного из членов этой дилеммы сделать не решился, потому что и в том, и в другом случае приходилось признать Бога несправедливым. Он был бы несправедлив, если бы допустил младенцев мучиться,

когда они ни в чем не повинны; он был бы не менее несправедлив, если бы предоставил им блаженную жизнь, когда они ничем ее не заслужили».

Сурово, однако. И младенцы у них что-то должны заслужить. Но дальше шло что-то ужасно вычурное, он даже в смысл не мог вникнуть.

«Тебе, доблестный муж, все умелые в слове и составители речей покажут, конечно, силу в слове, пускаясь как бы на поприще какое-то, на описывание чудных дел твоих...» Он принялся пробегать это плетение словес, но ухватить удавалось очень мало.

«Пользующемуся долговременною жизнью непременно должно потерпеть одно из двух огорчений: или в настоящей жизни бороться со многими трудами за добродетель, или в будущем мучиться при воздаянии скорбями за порочную жизнь. Но для умирающих прежде времени нет ничего подобного. Напротив того, преждевременно преставившийся немедленно встречает добрый жребий, если только справедливо мнение так думающих. Посему вследствие этого и неразумие окажется предпочтительнее разума, и добродетель представится ничего поэтому не стоящею».

Бр-р, как бы это попроще? Если младенец получил райское блаженство без трудов, то и труды ничего не стоят, так, что ли?

«Итак, спрашиваешь: почему находящийся в таком возрасте выводится из жизни? Что достигается через это Промыслом Божественной премудрости?» Дальше шло опять что-то длинное и запутанное, но ответ он все-таки высмотрел: «Совершенному промыслу свойственно не только врачевать обнаружившиеся немощи, но и промышлять, чтобы и первоначально не впал кто-нибудь в запрещенное». Ясно, будущих грешников лучше профилактически удалять из мира, пока они не успели очень уж нагрешить. Хотя почему бы Всемогущему их не исправить?

Интересно, что по этому поводу думает отец Павел? Он уже почти разговаривал с ним, будто с живым человеком.

И тестюшка его не разочаровал. А типография, будто нарочно, отвела целых полторы чистых страницы для его ювелирной клинописи.

Если наш долг защищать душу от безжалостной власти материального мира, то по поводу безвременно умерших младенцев наша душа требует одного: чтобы им каким-то образом воздалось за эту страшную несправедливость. И, значит, мы должны не взвешивать их несуществующие заслуги и будущие грехи, но прямо обещать их убитым горем матерям и отцам райское блаженство безо всяких условий и оговорок. Иначе они возненавидят нас за наши бухгалтерские расчеты.

Я знаю, о чем говорю, Ксюша была мне не столько любимой женой, сколько любимым ребенком, и когда она настаивала на операции, которая бы позволила ей иметь детей, я говорил ей: «У меня ребенок уже есть — это ты». Я настолько боялся ее потерять, что и самый крошечный риск для меня был ужасен. Я не брезговал даже софизмами, что Господь-де не желает, чтобы у нее были дети, но эта бесхитростная девчушка, когда ей очень чего-нибудь хотелось, в софизмах могла превзойти самого прожженного иезуита. «Нет, — возражала она, — Господь послал мне испытание, чтобы проверить, готова ли я потрудиться, чтобы сделаться матерью».

И вот операция прошла успешно, а роды ее убили. И при всем невыносимом ужасе потери, при всей невыносимой жалости к ней, хотя мне все наперебой твердили, что нет ничего приятнее, чем смерть от потери крови, — сильнее ужаса, сильнее сострадания был гнев на запредельную несправедливость случившегося. Коню, собаке, крысе можно жить, но не тебе...

Я отказался ее отпевать. Слова, прежде казавшиеся грозными и прекрасными, коробили меня своей напыщенностью. «Плачу и рыдаю, егда помышляю смерть, и вижу во гробех лежащую по образу Божию созданную нашу красоту, безобраз-

ну, безславну, не имущую вида. О чуде! Что сие еже о нас бысть таинство, како придахомся тлению, како сопрягохомся смерти, воистинну Бога повелением, яко же писано есть, подающего преставльшемуся упокоение». Почему не сказать попросту: «Я плачу и рыдаю всякий раз, как помыслю о смерти и увижу лежащую во гробу созданную по образу Божию красоту нашу безобразной, бесславной, не имеющей располагающего вида. Какое чудо! Что за таинственное явление с нами? Как предались мы разложению? Как соединились со смертью? Воистину это, как сказано в Писании, по повелению Бога, дающего упокоение ушедшему». Да, ушедшему упокоение он дает. А оставшемуся? Муку до конца его дней?

Когда коллеги ставили мне в пример кротость Иова многострадального — Бог-де дал, Бог и взял, — это меня только бесило. Мне стало легче лишь тогда, когда я понял, что мою душу может защитить только та Церковь, которая предоставит ей право на протест, на гнев и даже на богоборчество. Для меня приемлем лишь такой Бог, который способен понять и снизить к нашей обиде на Него.

Иначе какой же он отец? Он же сам почему-то не пожелал сотворить человека смиренным, но зачем-то же создал его по Своему образу и подобию.

Ну, святой отец дал... В былые времена за такие штуки быть бы ему на костре. Да и сейчас, возможно, оттого-то он и пропал, что решил где-то что-то подобное ляпнуть. Трудно поверить, но вроде бы и сейчас в каких-то укромных углах водятся фанатики.

«...Государь-свет, православной царь! Не сладко и нам, егда ребра наши ломают и, развязав, нас кнутьем мучат и томят на морозе гладом.

...Егда я был в попех в Нижегородском уезде, ради церкви божия был удушен и три часа лежал, яко бездушен, руки мои и ноги были избиты, и имение мое не в одну пору бысть в разграблении... И егда устроил мя бог протопопом в Юрьевце-Повольском, бит ослопием, и топтан злых человек ногами, и дран за власы руками...

...Егда патриарх бывшей Никон послал меня в смертоносное место, в Дауры, тогда на пути постигоша мя вся злая. По лицу грешному воевода бил своими руками, из главы волосы мои одрал, и по хребту моему бил чеканом, и семьдесят два удара кнутом по той же спине, и скована в тюрьме держал пят недель, тридцать и семь недель морозил на морозе, через день дая пищу, и два лета против воды заставил меня тянуть лямку. От водяного наводнения и от зноби осенняя распух живот мой и ноги, и от пухоты расседалася на ногах моих кожа, и кровь течаше беспрестанно.

...У меня же, грешника, в той нужде умерли два сына, — не могли претерпеть тоя гладныя нужды.

...И не то, государь-свет, надежда наша, едино; но в десеть лет много тово было: беды в реках и в мори, и потопление ми многое было. Первое с челедию своею гладен, потом без обуви и без одежи, яко во иное время берестами вместо одеяния одевался и по горам великим каменным бос ходяще, нужную пищу собираху от травы и корения, яко дивии звери; иногда младенцы мои о острое камение ноги свои до крови розбиваху и сердце мое зле уязвляху, рыдающе горькими слезами; а во иное время сам и подружие мое шесть недель шли по голому льду, убивающеся о лед, волокли на волоченьках малых детей своих, в пустых Даурских местех мерзли все на морозе».

Это с кем же все эти радости творились?.. Обложка совсем затерлась. А, так это он и есть, знаменитый протопоп Аввакум!.. Таки да, эти чокнутые действительно демонстрируют, что и мы бы могли быть такими же негнибаемыми, если бы были такими же темными. Наш-то семейный протопоп, впрочем, уж никак не темнее прочих... Но он, похоже, не стал бы мучиться из-за каких-то двоеперстий или сугубой аллилуйи (даже и знать не интересно, что это такое).

Ладно, что-то уже поднадоело, глянуть последнюю книжонку, небольшую, можно быстро проглядеть.

На обложке красивый интеллигентный бородач, непреклонно вззирающий сквозь круглые очки в тонкой оправе; похож на народовольца Морозова, что-то вроде четверти века оттянувшего в Петропавловке и Шлиссельбурге. Святитель Лука (Войно-Ясенецкий), «Я полюбил страдание». Про Войно-Ясенецкого Савл что-то слышал: знаменитый хирург, лауреат Сталинской премии и вместе с тем епископ. Или даже архиепископ? Если такие сейчас есть. В общем, что-то роскошное — и митра на нем, и Сталинская премия. Не так уж, значит, их тогда и преследовали.

О Мать моя, поруганная, презираемая Мать, Святая Церковь Христова! Ты сияла светом правды и любви, а ныне что с тобой? Тысячи и тысячи храмов твоих по всему лицу земли Русской разрушены и уничтожены, а другие осквернены, а другие обращены в овощные хранилища, заселены неверующими, и только немногие сохранились. На местах прекрасных кафедральных соборов — гладко вымощенные пустые площадки или театры и кинематографы. О Мать моя, Святая Церковь! Кто повинен в твоём поругании? Только ли строители новой жизни, церкви земного царства равенства, социальной справедливости и изобилия плодов земных? Нет, должны мы сказать с горькими слезами, не они одни, а сам народ. Какими слезами оплатит народ наш, забывший дорогу в храм Божий?

Уж сколько и Савик, и Савл ни перевидали этих церквей-овощехранилищ, и в голову им не могло прийти, что это может всерьез кого-то волновать, кроме темных бабок, вроде его несчастной матушки. Интересно бы найти первый вывих, когда сигналы фантазии, которую они называют душой, начинают одолевать сигналы тела. Или это какой-то врожденный психотип? Какое-то прирожденное, статистически неуловимое ядрышко «истинно верующих», для кого фантазии важнее фактов, — эти-то ребята и служат закваской всех религий, они и демонстрируют остальным, что психика важнее физики. Хотя для подавляющего большинства это сущая нелепость.

Но это же самое большинство готово с восторгом взирать на штучных чудаков, решающихся бросить вызов страшному тирану, перед которым они трепещут, — страданиям тела. Вот и Морозов был такой же. Ему всего важнее, как правильно, а как неправильно, а во что лично ему это правильное обойдется, его как будто бы и вовсе не волнует. Жертвенность и порождается властью фантазии над телом. Вера Засулич мечтала пожертвовать собой, когда еще не видела ни одного униженного и оскорбленного (кстати, тогдашний Гришка сказал, что таких надо госпитализировать).

Вот кого нужно изучать — этих чудаков. Похоже, и все главные народовольцы относились к этому же психотипу: их отчаянность была вовсе не аутоагрессией, а безразличием к собственному телу. Правда, их особенно не наизучаешься, их, наверно, еще меньше, чем ядерных трансвеститов. Так что надо дорожить каждым экземпляром. Вот с этого серебрянобородого красавца и начнем.

Он принялся проглядывать это спокойнейшее автобио, высматривая те исключительности, которыегодились бы для ранней диагностики будущих героев и святых, — сами-то они, как и трансвеститы, наверняка понятия не имеют, что сделало их такими.

У будущего епископа начиналось так: отец, сверхнабожный католик, «по жизни» блаженный — окруженный по должности нечестной публикой, всех считает праведниками; мать, истово православная, никогда не ходит в церковь: священники-де жадничают и грызутся (святей она, стало быть, патриарха Константинопольского). К такой наследственности имеет смысл приглядываться.

Однако два брата к религии равнодушны, хотя какие-то ритуалы соблюдают. Зато старшая сестра, курсистка, была так потрясена ходынской катастрофой, что выбросилась из окна; итог — переломы костей, разрыв почки и смерть в двадцать пять лет. Чьи-то страдания, пережитые ею исключительно в воображении, оказались сильнее инстинкта самосохранения, фантазия сильнее тела.

У будущего святителя все начиналось тоже по гуманистическому шаблону. Отличные дарования и огромное влечение к живописи — но какое он имеет право заниматься искусством, а не помогать каким-то страдалцам, которых он в глаза не видел! Значит, медицина. И тут весьма оригинальный штришок: *он хочет помогать людям, ничего не зная об их материальной природе*, — он ненавидит физику, и химию, и даже минералогию, живописующую историю Земли без участия Творца.

Благодаря блестящим способностям он и эти предметы сдает на пятерки, хотя мозг их выталкивает, словно желудок отраву. Получив диплом лекаря с отличием, отправляется в земские врачи, к изумлению однокурсников: «Вы же прирожденный ученый!» Что вызывает у него искреннюю обиду: как они не понимают, что медицина ему была нужна исключительно для того, чтобы помогать бедным людям!

Русско-японская война, госпитали под Читой, с места в карьер серьезные операции, сплошные успехи.

Женитьба на сестре милосердия, покорившей восходящую звезду не столько красотой, сколько добротой и кротостью. Ради него она даже нарушила обет девства, хотя в последнюю ночь перед венчанием во время молитвы ей показалось, что Спаситель отвернул от нее свой лик. По-видимому, за нарушение обета Господь и наказал ее патологической ревностью, на полном серьезе комментирует эту галлюцинацию профессор медицины.

Затем бесконечные подвиги земского доктора, народная слава во всех соседних уездах, круглосуточный труд и опыты по местному обезболиванию, конфликт с черносотенцами, увольнение, разгром земской управы под предводительством прозревшего милостью будущего святителя слепого, спешный отъезд, похожий на побег, блестящая докторская по региональной анестезии, снова уездная больница, изучение трехсот черепов во время отпусков, открытие нового способа инъекции ко второй ветви тройничного нерва, защита диссертации, премия от Варшавского университета за лучшие сочинения, пролагающие новый путь в медицине, и все более глубокое понимание, сколь огромно значение гнойной хирургии.

И неотвязная мысль: когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя епископа.

Быть священнослужителем, а тем более епископом, мне и во сне не снилось, но неведомые нам пути жизни нашей вполне известны Всеведущему Богу, уже когда мы во чреве матери.

Это тоже на полном серьезе.

Первая мировая, заведование госпиталем, пионерские операции на желчных путях, желудке, селезенке и даже на головном мозге.

В начале семнадцатого к ним переезжает старшая сестра жены, только что похоронившая дочь, сгоревшую от скоротечной чахотки, и, на беду, привозит с собой ее одеяло, от которого заражается жена доктора.

И тут же приглашение в Ташкент на должность хирурга и главного врача большой городской больницы.

«Крайне трудное» путешествие с малыми детьми «при сильно расстроенном железнодорожном движении», «междоусобная война» с «летевшими с обеих сторон во

множестве пушечными снарядами», под которыми приходилось ходить в больницу, победа красных, расправа над побежденными, месть «Андрея», неосторожно наказанного служителя больничного морга.

Когда мы проходили по железнодорожному мосту, стоявшие на рельсах рабочие что-то кричали Андрею: как я после узнал, они советовали Андрею не возиться с нами, а расстрелять нас под мостом.

Как всегда, не ведали, что творили. И все равно у верующих безмозглость пороком не считается, обличаются больше умствования... Будьте как дети, отрывайте лапки мухам...

Спасибо, добрые люди отстояли. Потрясение всего лишь ускорило смерть жены.

Две ночи я сам читал над гробом Псалтирь, стоя у ног покойной в полном одиночестве. Часа в три второй ночи я читал сто двенадцатый псалом, начало которого поется при встрече архиерея в храме: «От восток солнца до запад», и последние слова псалма поразили и потрясли меня, ибо я с совершенной несомненностью воспринял их как слова Самого Бога, обращенные ко мне: «Вселяя неплод в дом, мать о чадах веселяшуся».

Господу Богу было ведомо, какой тяжелый, тернистый путь ждет меня, и тотчас после смерти матери моих детей Он Сам позаботился о них и мое тяжелое положение облегчил. Почему-то без малейшего сомнения я принял потрясшие меня слова псалма как указание Божие на мою операционную сестру Софию Сергеевну Белецкую, о которой я знал только то, что она недавно похоронила мужа и была бездетной, и все мое знакомство с ней ограничивалось только деловыми разговорами, относящимися к операции. И, однако, слова: «Неплодную вселяет в дом матью, радующеюся о детях», — я без сомнения принял как Божие указание возложить на нее заботы о моих детях и воспитании их.

Я едва дождался семи часов утра и пошел к Софии Сергеевне, жившей в хирургическом отделении. Я постучал в дверь. Открыв ее, она с изумлением отступила назад, увидев в столь ранний час своего сурового начальника, и с глубоким волнением слушала о том, что случилось ночью над гробом моей жены. Я только спросил ее, верует ли она в Бога и хочет ли исполнить Божие повеление заменить моим детям их умершую мать. София Сергеевна с радостью согласилась.

Она долго жила в моей семье, но была только второй матерью для детей, ибо Всевышнему Богу известно, что мое отношение к ней было совершенно чистым. На этом остановлюсь, а после расскажу о тех великих благодеяниях, которые получили мои дети от Бога через Софию Сергеевну.

Это, наверно, и есть главная особенность прирожденно верующих: если любая случайность соответствует их ожиданиям, они немедленно считают ее указанием свыше и больше не сомневаются.

У тестя, кстати, тоже была подобная история, только кончилась она скандалом. Его «София Сергеевна» оказалась плодной и пыталась чуть ли не шантажировать «папочку», но Симу эта история так потрясла, что она слышать о ней не может, не то что обсуждать. Папочка для нее тоже что-то вроде Господа: он всегда прав. Так ей говорит ее глубина.

Доверять глубине ведь и означает доверять закрепившимся детским фантазиям. Отец Павел отыскал там Христа. Если не врет: слишком он умен и своенравен для такой простоты. У Симы в ее глубине таится один лишь «авось». А вот если бы он, Савл, решил доверять своей глубине, верить тому, во что когда-то верил Савик, что бы он, интересно, оттуда извлек?

Он задумался и понял, что у него нет глубины. Вернее, она ему и говорит, что наше дело безнадежно и рассчитывать не на кого. Надо сражаться, пока не уложат в цинковый ящик, а не пластаться перед пустотой.

«Ты старуха, что ли?!» — отцовское бешеное презрение до сих пор звенит в ушах.

Но гнойный хирург уж никак не похож на старуху.

Когда начались изобличения попов, он в большом собрании выступил так круто, что владыка сказал ему: «Доктор, вам надо быть священником!» Хорошее время выбрал... Но доктор ни секунды не колебался: партия велела, комсомол ответил «есть». «Буду священником, если это угодно Богу!»

Но как можно узнать, что Ему угодно, Он ведь вроде бы неисповедим? Ученый даже не задает вопросов. Такова врожденная религиозность.

Конечно, это необыкновенное событие посвящения во диакона уже получившего высокую оценку профессора произвело огромную сенсацию в Ташкенте, и ко мне пришли большой группой студенты медицинского факультета во главе с одним профессором. Конечно, они не могли понять и оценить моего поступка, ибо сами были далеки от религии. Что поняли бы они, если бы я им сказал, что при виде кошунственных карнавалов и издевательств над Господом нашим Иисусом Христом мое сердце громко кричало: «Не могу молчать!» И я чувствовал, что мой долг — защищать проповедь оскорбляемого Спасителя нашего и восхвалять Его безмерное милосердие к роду человеческому.

Через неделю после посвящения во диакона, в праздник Сретения Господня 1921 года, я был рукоположен во иерея епископом Иннокентием.

Мне пришлось совмещать свое священническое служение с чтением лекций на медицинском факультете, слушать которые приходили во множестве и студенты других курсов. Лекции я читал в рясе с крестом на груди: в то время еще было возможно невозможное теперь. Я оставался и главным хирургом ташкентской городской больницы, потому служил в соборе только по воскресеньям.

Да еще на ходу изучал богословие. Да еще всю оперировал даже по ночам. Да еще для будущих лауреатских «Очерков гнойной хирургии» проводил исследования на привозимых повозками трупах поволжских беженцев (Ташкент — город хлебный), собственноручно очищая их от вшей и нечистот.

Однако работа на покрытых вшами трупах обошлась мне недешево. Я заразился возвратным тифом в очень тяжелой форме, но по милости Божией болезнь ограничилась одним тяжелым приступом и вторым — незначительным.

Тем временем одних священников арестовывали, другие разбегались, так что когда будущего святителя постригали в монахи, а потом тайно производили в епископы, едва ли у него было много конкурентов.

Все священники кафедрального собора разбежались, как крысы с тонущего корабля, и свою первую воскресную всенощную и Литургию я мог служить только с одним протоиереем Михаилом Андреевым.

Спокойно прошла следующая неделя, и я спокойно отслужил вторую воскресную всенощную. Вернувшись домой, я читал правило ко причащению Святых Тайн. В 11 часов вечера — стук в наружную дверь, обыск и первый мой арест. Я простился с детьми и Софией Сергеевной и в первый раз вошел в «черный ворон», как называли автомобиль ГПУ. Так положено было начало одиннадцати годам моих тюрем и ссылок. Четверо моих детей остались на попечении Софии Сергеевны. Ее и детей выгнали из моей квартиры главного врача и поселили в не-

большой каморке, где они могли поместиться только потому, что дети сделали нары и каморка стала двухэтажной. Однако Софию Сергеевну не выгнали со службы, она получала два червонца в месяц и на них кормилась с детьми.

Меня посадили в подвал ГПУ. Первый допрос был совершенно нелепым. Меня спрашивали о знакомстве с совершенно неведомыми мне людьми, о сообществе с оренбургскими казаками, о которых я, конечно, ничего не знал.

Однажды ночью вызвали на допрос, продолжавшийся часа два. Его вел очень крупный чекист, который впоследствии занимал очень видную должность в московском ГПУ. Он допрашивал меня о моих политических взглядах и моем отношении к советской власти. Услышав, что я всегда был демократом, он поставил вопрос ребром: так кто же вы — друг наш или враг наш? Я ответил: «И друг ваш, и враг ваш, если бы я не был христианином, то, вероятно, стал бы коммунистом. Но вы воздвигли гонение на христианство, и потому, конечно, я не друг ваш».

Меня на время оставили в покое и из подвала перевели в другое, более свободное помещение. Меня держали в наскоро приспособленном под тюрьму ГПУ большом дворе с окружающими его постройками. На дальнейших допросах мне предъявляли вздорные обвинения в сношениях с оренбургскими казаками и другие выдуманные обвинения.

В годы своего священства и работы главным врачом ташкентской больницы я не переставал писать свои «Очерки гнойной хирургии», которые хотел издать двумя частями и предполагал издать их вскоре: оставалось написать последний очерк первого выпуска — «О гнойном воспалении среднего уха и осложнениях его».

Я обратился к начальнику тюремного отделения, в котором находился, с просьбой дать мне возможность написать эту главу. Он был так любезен, что предоставил мне право писать в его кабинете по окончании его работы. Я скоро окончил первый выпуск своей книги. На заглавном листе я написал: «Епископ Лука. Профессор Войно-Ясенецкий. Очерки гнойной хирургии».

Так удивительно сбылось таинственное и непонятное мне Божие предсказание об этой книге.

А было ли ему страшно, холодно или голодно, об этом ни слова: его тело ведь это не он.

Когда его отправляли в Москву, толпа легла на рельсы, но поезд задержала всего минут на двадцать.

Потом снова тюрьмы, допросы, пересылки, и о теле, как всегда, ни слова, только о сложных отношениях с блатарями: они то покровительствовали батюшке за его щедрость, то вдруг украли деньги и чемодан с вещами. Тело возникло лишь тогда, когда отказалось служить.

В Таганской тюрьме я заболел тяжелым гриппом, вероятно вирусным, и около недели пролежал в тюремной больнице с температурой около 40 градусов. От тюремного врача я получил справку, в которой было написано, что я не могу идти пешком и меня должны везти на подводе.

Когда поезд пришел в город Тюмень, был тихий лунный вечер, и мне захотелось пройти в тюрьму пешком, хотя стража предлагала подводу. До тюрьмы было не более версты, но, на мою беду, нас погнали быстрым шагом, и в тюрьму я пришел с сильной одышкой. Пульс был мал и част, а на ногах появились большие отеки до колен.

Это было первое проявление миокардита, причиной которого надо считать возвратный тиф, который я перенес в Ташкенте через год после принятия священства. В Тюменской тюрьме наша остановка продолжалась недолго, около двух недель, и я все время лежал без врачебной помощи, так как единственную склянку дигиталиса получил только дней через двенадцать.

А выздоровев, тело снова исчезло.

В Красноярске нас посадили в большой подвал двухэтажного дома ГПУ. Подвал был очень грязен и загажен человеческими испражнениями, которые нам пришлось чистить, при этом нам не дали даже лопат. Рядом с нашим подвалом был другой, где находились казаки повстанческого отряда. Имени их предводителя я не запомнил, но никогда не забуду оружейных залпов, доносившихся до нас при расстреле казаков. В подвале ГПУ мы прожили недолго, и нас отправили дальше по зимнему пути в город Енисейск за триста двадцать километров к северу от Красноярска.

Об этом пути я мало помню, не забуду только операции, которую мне пришлось произвести на одном из ночлегов крестьянину лет тридцати. После тяжелого остеомиелита, никем не леченного, у него торчала из зияющей раны в дельтовидной области вся верхняя треть и головка плечевой кости. Нечем было перевязать его, и рубаха, и постель его всегда были залиты гноем. Я попросил найти слесарные щипцы и ими без всякого затруднения вытащил огромный секвестр.

Дальше одни только молебствия на частных квартирах да операции.

Мой приезд в Енисейск произвел очень большую сенсацию, которая достигла апогея, когда я сделал экстракцию врожденной катаракты трем слепым маленьким мальчикам-братьям и сделал их зрячими. За два месяца жития в Енисейске сделал немало очень больших хирургических и гинекологических операций.

В Хае мне довелось оперировать у старика катаракту в исключительной обстановке. У меня был с собой набор глазных инструментов и маленький стерилизатор. В пустой нежилой избе я уложил старика на узкую лавку под окном и в полном одиночестве сделал ему экстракцию катаракты. Операция прошла вполне успешно.

Тело же по-прежнему возникает лишь тогда, когда отказывается служить.

Меня, никогда прежде не ездившего верхом и крайне утомленного, пришлось снимать с лошади моим провожатым.

И везде-то он лечит и благословляет, а его за это отправляют все дальше, вернее, ближе к Северному полюсу. И в конце концов в воспоминания даже пробивается быт.

Это был совсем небольшой станок, состоявший из трех изб и еще двух больших, как мне показалось, груд навоза и соломы, которые в действительности были жилищами двух небольших семей.

Я остался один в своем помещении. Это была довольно просторная половина избы с двумя окнами, в которых вместо вторых рам были снаружи приморожены плоские льдины. Щели в окнах не были ничем заклеены, а в наружном углу местами был виден сквозь большую щель дневной свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая такая же куча, никогда не таявшая, лежала внутри избы у порога входной двери. Для ночлега и дневного отдыха крестьяне соорудили широкие нары и покрыли их оленьими шкурами. Подушка была у меня с собой. Вблизи нар стояла железная печурка, которую на ночь я наполнял дровами и зажигал, а лежа на нарах, накрывался своей енотовой шубой и меховым одеялом. Ночью меня пугали вспышки пламени в железной печке, а утром, когда я вставал со своего ложа, меня охватывал мороз, стоявший в избе, от которого толстым слоем льда покрывалась вода в ведре.

Он и здесь, на двести тридцать километров заступивши за полярный круг, начинал проповедовать Новый Завет, но крестьянам почему-то быстро надоело. За-

то в том самом жилище, которое он с непривычки принял за кучу навоза, ему случилось крестить двух малых детей.

У меня не было ничего: ни облачения, ни требника, и за неимением последнего я сам сочинил молитвы, а из полотенца сделал подобие епитрахили. Убогое человеческое жилище было так низко, что я мог стоять только согнувшись. Купелью служила деревянная кадка, а все время совершения Таинства мне мешал теленок, вертевшийся возле купели.

Круто. Савл ощутил невольное восхищение. А тем временем в Туруханске, откуда профессор-епископ был изгнан за чрезмерную популярность, в больнице умер крестьянин, которого изгнанник мог бы спасти, и разъярившиеся мужики с вилами, косами и топорами двинулись на сельсовет и ГПУ, так что туруханские власти от греха поспешили вернуть реакционера обратно.

В середине лета, не помню точно, в какой форме, я имел, как мне казалось, предсказание от Бога о скором возвращении из туруханской ссылки. Я ждал с нетерпением исполнения этого обещания, но шли недели за неделями, и все оставалось по-прежнему. Я впал в уныние и однажды в алтаре зимней церкви, которая сообщалась дверью с летней церковью, со слезами молился пред запрестольным образом Господа Иисуса Христа. В этой молитве, очевидно, был и ропот против Господа Иисуса за долгое невыполнение обещания об освобождении. И вдруг я увидел, что изображенный на иконе Иисус Христос резко отвернул Свой пречистый лик от меня. Я пришел в ужас и отчаяние и не смел больше смотреть на икону. Как побитый пес, пошел я из алтаря в летнюю церковь, где на клиросе увидел книгу Апостол. Я машинально открыл ее и стал читать первое, что попало мне на глаза.

К большой скорби моей, я не запомнил текста, который прочел, но этот текст произвел на меня прямо-таки чудесное действие. Им обличалось мое неразумие и дерзость ропота на Бога и вместе с тем подтверждалось обещание освобождения, которого я нетерпеливо ожидал.

Я вернулся в алтарь зимней церкви и с радостью увидел, глядя на запрестольный образ, что Господь Иисус опять смотрит на меня благодатным и светлым взором.

Разве же это не чудо?!

Это и есть главное свойство врожденной религиозности — к своим субъективным впечатлениям относиться как к реальным фактам. Так что когда последний в навигацию пароход ушел без него, отец Лука проводил его радостной улыбкой. И Господь его действительно не оставил, всего через три месяца послал ему небольшую варикозную язву голени с ярким воспалением кожи вокруг нее. Язва оказалась основанием для перевода в Красноярск.

Тяжкий путь по Енисею был тем светлым архиерейским путем, о котором при отходе последнего парохода предсказал мне Сам Бог словами псалма Тридцать первого: «Вразумлю тя и наставлю тя на путь сей, воньже пойдеши, утвержу на тя очи Мои». Буду смотреть, как ты пойдешь этим путем, а ты не рвись на пароход, как конь или мул, не имеющий разума, которого надо направлять удилами и уздой.

Мой путь по Енисею был поистине архиерейским путем, ибо на всех тех останках, в которых были приписные церкви и даже действующие, меня встречали колокольным звоном, и я служил молебны и проповедовал.

А с самых дальних времен архиерея в этих местах не видали.

В большом селе, не доезжая 400 верст до Енисейска, меня предупредили, что дальше ехать нельзя — опасно, так как на Енисее образовалась широкая трещина во льду, а у берегов вода широко вышла поверх льда, образовав так называемые «забереги», да и дороги в прибрежной тайге не было. Но мы все-таки поехали.

Доехали до широкой трещины через всю реку шириною больше метра. Увидели, что в ней тонет лошадь с санями, которую тщетно старается вытащить бедная женщина. Помогли ей и вытащили лошадь с санями, а сами призадумались, что делать.

А потом разогнались и перескочили. И на все удовольствие ушло каких-то полтора месяца.

Снова триумфальные операции, вежливое обращение чекистов, возвращение в Ташкент, встреча с родителями и детьми, конфликт с местным священником, требовавшим нового освящения Сергиевского храма после епископа-обновленца, — и в итоге увольнение «на покой» в двадцать седьмом году.

Весной 1930 года стало известно, что и Сергиевская церковь предназначена к разрушению. Я не мог стерпеть этого, и, когда приблизилось назначенное для закрытия церкви время и уже был назначен страшный день закрытия ее, я принял твердое решение: отслужить в этот день последнюю Литургию и после нее, когда должны будут явиться враги Божии, запереть церковные двери, снять и сложить грудой на середине церкви все крупнейшие деревянные иконы, облить их бензином, в архиерейской мантии взойти на них, поджечь бензин спичкой и сгореть на костре... Я не мог стерпеть разрушения храма... Оставаться жить и переносить ужасы осквернения и разрушения храмов Божиих было для меня совершенно нестерпимо. Я думал, что мое самосожжение устроит и вразумит врагов Божиих — врагов религии — и остановит разрушение храмов, колоссальной дьявольской волной разлившееся по всему лицу земли Русской.

Однако Богу было угодно, чтобы я не погиб в самом начале своего архиерейского служения, и по Его воле закрытие Сергиевской церкви было почему-то отложено на короткий срок. А меня в тот же день арестовали.

23 апреля 1930 года я был в последний раз на Литургии в Сергиевском храме и при чтении Евангелия вдруг с полной уверенностью утвердился в мысли, что в этот же день вечером буду арестован. Так и случилось, и церковь разрушили, когда я был в тюрьме.

В своей знаменитой пасхальной проповеди св. Иоанн Златоуст говорит, что Бог не только «дела приемлет», но и «намерения целует». За мое намерение принять смерть мученическую да простит мне Господь Бог множество грехов моих!

А о том, что самоубийство — смертный грех, нет и проблеска мысли. Прирожденная религиозность: что им их глубина скажет, то и есть высшая истина.

Савл старался все это фиксировать с полнейшим хладнокровием, но невольное нарастающее изумление было готово вот-вот перейти во что-то вроде благоговения. Как количество переходит в качество, потому что ничего особенно нового новый арест уже не открывал — привычная рутина: голодовка, приближение смерти, смягчение режима из Москвы, арестантский вагон до Котласа, сотни необыкновенно крупных черных вшей, лагпункт Макариха, гнилые бараки, потоки воды через дырявую крышу, эпидемия тифа, семьдесят трупов ежедневно, Архангельск, снова успешные операции и твердая бугристая опухоль у себя самого, разрешение на операцию в Ленинграде, доброкачественность опухоли, — все мимоходом, ибо касается только тела. И вот наконец первое потрясение: служба в ленинградском монастырском храме.

Когда приблизилось время чтения Евангелия, я вдруг почувствовал какое-то непонятное, очень быстро нараставшее волнение, которое достигло огромной силы, когда я услышал чтение. Это было одиннадцатое воскресное Евангелие. Слова Господа Иисуса Христа, обращенные к апостолу Петру — «Симоне Ионин, любиши ли Мя паче сих?.. Паси овцы Моя», — я воспринимал с несказанным трепетом и волнением, как обращение не к Петру, а прямо ко мне.

Разумеется, к кому же еще!

Но какой-то глупый змий оплел его медовыми речами, обещал кафедру в Москве всего лишь за отказ от епископского служения, тем более что он все равно-де пребывает на покое.

Не понимаю, совсем не понимаю, как мог я так скоро забыть так глубоко потрясшее меня в Ленинграде повеление Самого Господа Иисуса Христа «Паси агнцы Моя... Паси овцы Моя...»

Только в том могу находить объяснение, что оторваться от хирургии мне было крайне трудно.

«Но ты же сам хотел заниматься медициной, чтобы помогать людям?!» — чуть не заорал Савл, забыв, что он лишь изучает редкий психотип. Однако тут же одернул себя: ведь хирургия служит жалкому телу, а пастырское служение высокой душе, то есть фантазии. К счастью, Бог сохранил профессора от гибели: начальство отказалось предоставить целый институт епископу. И все-таки он «опустился» до такой степени, что надел гражданскую одежду и получил должность консультанта, за что и поплатился лихорадкой Папатачи и отслойкой сетчатки на левом глазу.

Падение его дошло до того, что он принял заведование отделением гнойной хирургии и продолжал исследования на трупах, невзирая на вещий страшный сон.

Более двух лет еще я продолжал эту работу и не мог оторваться от нее, потому что она давала мне одно за другим очень важные научные открытия, и собранные в гнойном отделении наблюдения составили впоследствии важнейшую основу для написания моей книги «Очерки гнойной хирургии». В своих покаянных молитвах я усердно просил у Бога прощения за это двухлетнее продолжение работы по хирургии, но однажды моя молитва была остановлена голосом из неземного мира: «В этом не кайся!» И я понял, что «Очерки гнойной хирургии» были угодны Богу, ибо в огромной степени увеличили силу и значение моего исповедания имени Христова в разгар антирелигиозной пропаганды.

Слава тебе, Господи, злобно хмыкнул Савл, ради имени Христова можно потерпеть и гнойную хирургию.

И тут наконец пришел Тридцать седьмой. Отец Лука попал на нескончаемый конвейерный допрос, и на либерализм начальства на этот раз надежды уже не было.

Я опять начал голодовку протеста и голодал много дней. Несмотря на это, меня заставляли стоять в углу, но я скоро падал на пол от истощения. У меня начались ярко выраженные зрительные и тактильные галлюцинации, сменявшие одна другую. То мне казалось, что по комнате бегают желтые цыплята, и я ловил их. То я видел себя стоящим на краю огромной впадины, в которой расположен целый город, ярко освещенный электрическими фонарями. Я ясно чувствовал, что под рубахой на моей спине извиваются змеи.

От меня неуклонно требовали признания в шпионаже, но в ответ я только просил указать, в пользу какого государства я шпионил. На это ответить, ко-

нечно, не могли. Допрос конвейером продолжался тринадцать суток, и не раз меня водили под водопроводный кран, из которого обливали мою голову холодной водой. Не видя конца этому допросу, я надумал напугать чекистов. Потребовал вызвать начальника Секретного отдела и, когда он пришел, сказал, что подпишу все, что они хотят, кроме разве покушения на убийство Сталина. Заявил о прекращении голодовки и просил прислать мне обед.

Я предполагал перерезать себе височную артерию, приставив к виску нож и крепко ударив по спинке его. Для остановки кровотечения нужно было бы перевязать височную артерию, что невыполнимо в условиях ГПУ, и меня пришлось бы отвезти в больницу или хирургическую клинику. Это вызвало бы большой скандал.

Очередной чекист сидел на другом конце стола. Когда принесли обед, я незаметно ощупал тупое лезвие столового ножа и убедился, что височной артерии перерезать им не удастся. Тогда я вскочил и, быстро отбежав на середину комнаты, начал пилить себе горло ножом. Но и кожу разрезать не смог.

Чекист, как кошка, бросился на меня, вырвал нож и ударил кулаком в грудь. Меня отвели в другую комнату и предложили поспать на голом столе с пачкой газет под головой вместо подушки. Несмотря на пережитое тяжкое потрясение, я все-таки заснул и не помню, долго ли спал.

Меня уже ожидал начальник Секретного отдела, чтобы я подписал сочиненную им ложь о моем шпионаже. Я только посмеялся над этим требованием.

Он посмеялся...

Савл понимал, что именно такие одержимые и стоят на пути человечества к мирному возвращению с небес на землю, но ничего не мог с собой поделать, — он испытывал... Даже не восторг — трепет, преклонение перед величием человека, сказал бы он, если бы уже много лет назад настрого не запретил себе пафос.

А театральные жесты он и с юности терпеть не мог. Иначе, смех сказать... Иначе бы он преклонил колени перед этим чертовым святителем.

Да, только эти сверхчеловеки и усвоили суть христианства: служить тем, кто недостоин твоего чиха. Отец Павел, пока его не отлучили от экрана, все время повторял, что в религии-де есть и утешительная, и требовательная сторона, и почти все неопиты ринулись за утешительной, ринулись получать, а не отдавать. А уголовники в Боге нашли чуть ли даже не покровителя, они никогда не спрашивают, как им отказаться от своих мерзостей, но только, как их отмолить. Да и бизнесмены недалеко от них ушли, главный вопрос: сколько нужно пожертвовать на церковь, чтобы она тебя отмолила.

Отец Павел, конечно, крутой мужик, но этот епископ...

Буквально дух перехватывает.

Еще и глаза с чего-то пощипывает, заметил он и с изумлением понял, что у него в глазах стоят слезы. Не слезы сострадания, сострадать можно тому, кто похож на тебя, а этот титан, по чьей судьбе он только что пробежался, явно не был человеком, это было существо какой-то иной породы. Нет, это были слезы восторга. И уж, конечно, не перед телом святителя, оно бы после первого же выстрела сбежало куда глаза глядят.

До чего, однако, нервы развинтились, уж очень день был безумный...

И стоило об этом подумать, как он почувствовал себя не просто усталым — измученным. Он прикрыл глаза, и перед ним возник худой и длинный Гришка, собирающийся у себя на кухне угостить его яичницей... Они оба так симпатичны друг другу, что, обращаясь один к другому, не могут удержаться от улыбки.

Гришка разбивает яйца ножом, и он говорит Гришке, чтобы сказать что-то приятное:

— А есть виртуозы, которые разбивают яйца о край сковородки.

же с геологической бородой, в грубом свитере и штормовке, с двустволкой через плечо; источает уверенность — куда Хемингуэю, — это, стало быть, годы его таежных приключений: когда он вместо аспирантуры подался в Духовную академию, его отправили служить на флот, а потом не пускали в академию, в конце концов он ее окончил заочно, и не брали ни на какую работу; была такая манера — сначала никуда не брать, а потом посадить по тунеядке. Так молодой Павел, еще далеко не отец, тогда подался в промысловики, ходил на самодельных лыжах по зимней тайге, ночевал в каких-то утопавших в снегу избушках, ставил на соболя примитивные капканы: зверька прихлопывало бревнышком, чтобы не портить шкуру...

В рассказах это очень завлекательно у него получалось. Не жизнь, а сплошная сказка с заранее известным хорошим концом.

Конец-то его пока что как раз не известен, а вот пресловутая глубина, видать, тоже дана была ему от рождения — вера, что все в конце концов будет хорошо, что жизнь стоит тех страданий, которые она несет. Такого вот бога он и нашел в своей глубине.

«А что, интересно, ношу в своей глубине я? Ничего не ношу, я ничего не знаю заранее, я хочу только знать правду, знать, как оно на самом деле».

Нечистая сила за окном затрясла створки так, что ему сделалось не по себе, и он невольно вгляделся в бушующую тьму так пристально, словно и впрямь опасался увидеть там кого-то рвущегося из тьмы и бури в свет и тишину. Потому-то люди и тянутся к вере — отвоевать уголок света и покоя среди мрака и бурь. Потому-то они и защищают ее так яростно.

Он вернулся в ящик.

О, так это Сима, что ли?..

Младенец, с полгодика наверно, еще, видимо, стоит нетвердо — чьи-то взрослые руки, может быть и отцовские, держат за животик, но уже девочка, в коротенькой юбчонке. Волосешки, правда, еще не отрасли, коротенькая шерстка... Пухленькие ручки, у запястья будто перетянутые ниточками, пухленькие щечки с ямочками, вытаращенные глазки и губки, вытянутые пяточком, — и такое на этой мордочке написано счастье!..

У него заломило в груди от умиления: это был почти еще зверек, прелестный радостный поросенок — человек не может быть так samozабвенно счастлив. И все-таки это несомненно была та же самая Сима, что и сейчас, она и глаза таращит так же, и губы вытягивает пяточком в минуты радостного удивления...

Он изо всех сил прижал кулаки к груди, чтобы унять боль невыносимой нежности.

Дитя, дитя... И он еще мог на нее сердиться! На младенца!

А собственно, кто не младенец? Младенцы все. И как же можно ненавидеть, в чем-то серьезном обвинять сосунков?..

Может быть, Иисус, или кто он там был, именно это когда-то и понял?

БАБАММ!!!!!!!!!!!!

Оконные створки с громом распахнулись, и холодный ветер смел со стола все брошюрки; кажется, он выхватил бы из ящика и фотографии, если бы Савл не успел задвинуть ящик.

Он бросился к окну. Шторы, трепавшиеся как паруса, били его по лицу, обвивали, вязали по рукам и ногам, но он все-таки поймал и вдавил обратно проклятые створки — и обнаружил, что удержать их нечем: скреплявший их бронзовый крючок вырван с мясом и лежит на подоконнике вместе с крепившими его шурупами. Матюгнувшись по-отцовски, он медленно, чтобы не вылетели стекла, отпустил створки обратно, позволив холодному вихрю снова ворваться в комнату, а портьерам вновь пусться в бешеную пляску.

По-быстрому сбегав на кухню за спичками и столовым ножом с тупым концом, он всунул по спичке в дырки от шурупов, обломил, затем снова вдавил створки на место, проклиная свой живот, взобрался коленями на подоконник, ухитрившись при этом удерживать рвавшиеся в комнату створки, приладил крючок на место старых дырок и, придерживая плечом, довольно удачно снова вернул шурупы.

Уф-ф...

Он тяжело сполз на пол и оглянулся на дело рук своих. Оконные половинки так трепетали и дребезжали, что крючок наверняка вот-вот вылетит снова.

Чем бы их закрепить, мать их в душу?! Можно связать оконную ручку с гнездом, куда вставляется крючок, но только быстро, быстро, пока будешь неизвестно где искать бечевку, все опять к черту разлетится...

Он обежал комнату глазами и даже поднял их к потолку — со шторы свисал витой метровый шнур. Ага, обрезать его — но чем, чем?.. Так вот же он, малайский крик! Острый, как черт.

Быстро, но осторожно, чтобы не порезаться, он взял извилистый кинжал в зубы и, словно пират, с кинжалом в зубах вновь, кряхтя, забрался на подоконник. Перехватил нож в правую руку и только начал осторожно распрямляться, как крючок снова вылетел и удар освободившихся створок сбросил его на пол.

Он крепко треснул правым локтем и коленом, но ожог в правом бедре был настолько силен, что он схватился рукой и устремил туда глаза одновременно. И обнаружил торчащий кинжал.

Точно там же, как у Мирохи...

Вроде бы нельзя выдергивать нож из раны, чтобы не хлынула кровь, Мироха вот выдернул...

Быстро «скорую»!

Он начал вставать, но каждое движение причиняло такую боль, что перехватывало дыхание и буквально лезли глаза на лоб. А вишневое пятно на шортах разрасталось и разрасталось, как чернильное пятно на промокашке... На солдатском цвете вид прямо фронтовой.

Как все это просто — раз, и нет человека!.. Он рванулся к телефону, но режущая боль в бедре едва не вышибла из него дух.

Он охватил левой рукой лезвие так, чтобы не прикасаться к нему, придавил ткань к бедру и, стиснув зубы, вырвал кинжал из раны, снова чуть не потеряв сознание от боли.

Сдавленно мыча при каждом шаге, добрался до телефона. Трубку не брали часа два, на полу успела образоваться алая лужица (тапочки он скинул сразу, как только в правом захлюпало). Потом какая-то дурища еще два часа расспрашивала, как его зовут да сколько ему лет, пока он не заорал: вы понимаете, что у вас, может быть, считанные минуты, я сейчас оставляю записку, чтобы в случае моей смерти винули вас, как ваша фамилия?!

«Успокойтесь, перетяните рану потуже, бригада уже выезжает».

Чем же, чем перетянуть?.. Он со стонами доковылял до ванной. Полотенца только махровые, ими не перетянешь. Все-таки он обмотал бедро поверх шорт и, как сумел, затянул. С мычаниями прохромал в спальню, сорвал покрывало, простыню; наступив ногой, попытался оторвать полосу — простыня не поддавалась. Волоча ее за собой, повлачился к брошенному у окна крису и успел отметить, что стекла больше не дрожат, буря стихла, как будто только его гибели и добивалась.

Крови на кинжале пальца на три-четыре (пронеслось нелепое воспоминание, как охотники на черепах проверяют, сколько на них жира: вонзают нож им в хвост и смотрят, на какой глубине появляется кровь). Натянув простыню рукой и зубами,

полоснул отточенными извивами — простыня разъехалась сразу на полметра. Оторвать широкую полосу дальше ничего не стоило.

Он на столе сложил ее вдвое, так, что она сделалась шириной примерно в ладонь, и, насколько сумел, туго затянул ее опять-таки поверх уже начавших обвисать пропитанных кровью шортов. Он впился взглядом в сморщенный жгут — красное сно-ва начало проступать, но вроде бы уже не так быстро.

Можно было наконец присесть, но он побоялся запачкать стул кровью и полуприсел на подоконник — сзади шорты вроде были сухие. Теперь вопрос, кто быстрее — бригада или кровь. Боль, пока не шевелишься, была терпимая.

М-мать твою!.. Он же по телефону назвал номер своей квартиры, а не квартиры тестя! Перезвонить, что ли?.. Но ведь попадешь уже на другую дуру... Пока ей объяснишь... А бригада уже в дороге...

Нет, надо спускаться домой. Сима перепугается, но что делать... Она может и пригодиться, если он потеряет сознание...

Голова не кружится, в глазах не темнеет?.. Не понять, все кажется бредом.

И так все просто — умрешь, как Мироха, у всех на глазах, и никто не поможет...

В дверях зачем-то оглянулся — лампадка светилась очень скромненько, даже икон не освещала, наверно, она и все время так горела... Какая нелепость — чем могут помочь раскрашенные дощечки?..

На площадке мелькнула мысль, что надо бы запереть дверь, но мелькнула тоже как заведомая нелепость.

Тяжело опираясь на перила, он босиком, оставляя кровавые отпечатки, похромал вниз, и на каждой ступеньке вместе со сдавленным стоном у него, как тогда в горах, вдруг начало вырываться: «Господи, помоги, Господи, помоги, Господи, помоги...»

«Ты что, старуха?» Какая разница, старуха, не старуха, лишь бы помогало...

Рана в бедре уже затянулась, а что-то в душе никак не затягивалось.

На улице никому до него не было дела, и он позволял себе хромать и даже морщиться, когда боль в бедре стреляла лишком сильно. Белые ночи подходили к концу, и на каменные ущелья спускался сумрак. Однако асфальт по-прежнему дышал нездоровым жаром.

Но все это касалось только тела, на душе недвижно лежала холодная тоска. Он уже не одергивал себя, когда на ум вскакивала эта самая «душа» — что-то же казалось людям, когда они на всех языках придумывали это слово. А что кажется, и есть самое главное. Этим мы и живем, умом пользуемся только для внешних связей.

И ум ему говорит, что он пустое место, букашка. Истек бы он кровью, и все бы на третий день его забыли. Ну, Сима, конечно, попереживала бы год-два. Единственным он был только для матери. И не смог ей простить того, что она хотела еще какого-то утешения...

Свинья он, свинья, жестокая свинья. И на духовность не свалить в отличие от Гришки Бердичевского. Или такая осатанелая антидуховность тоже форма духовности? Сатанинской, сказала бы мать.

Он снова ощутил легкое жжение в глазах — опять слезы, нервы развинтились вот уж действительно как у бабы...

Вдруг он остановился так резко, что едва не застонал от боли в бедре: здание, мимо которого он проходил десятки раз, оказалось церковью. Он почему-то считал, что церковь должна быть отдельно стоящим зданием, а если это просто фасад заподлицо с прочими, то это просто русский модерн.

А тут вдруг увидел и расписание служб, и крест над входом, и людей, которые на полном серьезе прямо на тротуаре крестятся на него, а кое-кто даже и кла-

няется. Притом не сельские бабуся, а нормальная городская публика, в том числе и мужчины с виду такие же, как он.

Он решил заглянуть внутрь, отчасти из любопытства, а отчасти просто оттого, что ему больше некуда было пойти. Дома было уж совсем тягостно, а тут, по крайней мере, ничего не нужно изображать.

Лики на иконах и здесь глядели холодно, отстраняюще, и он с некоторой завистью покосился на счастливичков, которые крестятся и кланяются надменным ликам с просветленным видом. А к небольшой иконе на маленькой трибунке выстроилась даже небольшая очередь. Совершенно обычные горожане (больше горожанки, но не только) кланялись в пояс и надолго припадали к ней губами. Другие с серьезнейшим видом зажигали тоненькие свечи от уже горящего кружка и подетски старательно вставляли их в металлические гнездышки.

И вдруг ему тоже захотелось поставить свечку — кажется, это называется «за упокой»? Мать была бы довольна. Глупость, конечно, матери все давным-давно без разницы, но он уже понял: действуя умно, мы угождаем миру, а действуя глупо — себе.

Он вышел в прихожую и, чтобы не встречаться взглядом с бабусей за прилавком, сделал вид, что увлекся чтением.

Требы только для крещеных... Об упокоении... Обеденные (не более 10 имен) — 30 руб... Панихида (не более 10 имен) — 100 руб... Мл. — младенца до 7 лет... Отр. — отрока — от 7 лет до 14... Бол. — болящего... Заключ. — заключенного... Убиен. — убиенного... Новопрест. — новопреставленного...

Он покосился на желтые свечки, разложенные пачками по ценам и толщине, и решил выбрать среднюю, чтобы не выделяться ни в ту, ни в другую сторону.

— Будьте добры, одну за семьдесят, — с усилием выговорил он, не поднимая глаз, но оказалось, что у него только пятисотка, а у бабуся нет сдачи.

Он хотел уже сказать, что сдачи ему не нужно, пусть будет типа пожертвование, но бабуся взгляделась в него и ласково сказала:

— Да возьмите так.

И давно подступавшие слезы внезапно хлынули через край.

Но не бежать же было наружу!..

Опустив голову, он быстро, насколько позволяла торжественность места, прошел к огненным кольцам и приложил фитиль к одной из горящих свечей. Фитиль зажигаться не спешил, а у него между тем вот-вот было готово потечь из носа, — проклятие, как назло, забыл платок...

Свеча наконец загорелась, но пока он прилаживал ее в латунное гнездышко, все-таки пришлось раза два сдержанно шмыгнуть носом. И тут его кто-то настойчиво потеревил за локоть. В другом месте он, пожалуй, даже и отругнулся, но здесь пришлось, не поднимая глаз, покоситься, — та же бабуся протягивала ему сложенную вчетверо салфетку.

Не оборачиваясь, он отжал нос, а потом промокнул глаза и, пробормотав растраганное «спасибо», уже хотел улизнуть, но бабуся с самым жалостным видом стала у него на дороге:

— Вам нужно с нашей батюшкой поговорить. Пойдем, пойдем, не гордись.

И он понял, что перед нею можно действительно не гордиться и не стыдиться, если только это не одно и то же.

Бабуся привела его на чистенькую кухню и налила ему крепкого сладкого чая из старого китайского термоса, какие он видел только в Халды-Балдах, и исчезла, а он, чувствуя себя дураком, все-таки испытывал и облегчение от того, что мо-

жет еще немножко побывать там, где чисто и светло. И где к нему, кажется, действительно хорошо относятся.

Потихоньку глотая чай, чтобы не выказать жадности и чтобы надольше хватило, он, оглянувшись, от души высморкался в новую салфетку, которых в достатке было ввинчено в граненый стакан, и воровато бросил ее в урну под раковиной (серый пластик, имитирующий плетеную корзину), напоследок еще раз осторожно промокнув глаза, которые наверняка и без того были неприлично красные.

Однако молодой батюшка в черной стройной рясе пожимал ему руку так, будто ни в его появлении здесь, ни в его заплаканных глазах нет ничего необычного.

— Извините, я сюда случайно зашел, — с усилием объяснился Савл, чтобы не сделаться невольным обманщиком перед людьми, которые так по-доброму к нему отнеслись.

— Это как кому нравится. Все можно назвать случайным, а можно промыслительным, — батюшка улыбнулся ему, как старший младшему, хотя по возрасту был немногим старше его сына, и, дружелюбно кивнув ему на стул, сел напротив, подомашнему положив черные локти на новую клеенку в сарафанных цветочках.

В глазах его вдохновенности было чуть больше, чем требовала ситуация, однако фанатизмом, маниакальностью и не пахло. С виду типичный народоволец, он на их фотографии посмотрелся, когда собирался писать про них дипломную работу.

— Извините, но я в промысел не верю, — с усилием признался он, ужасно не желая огорчать столь симпатичного хозяина, но еще больше не желая его обманывать.

— Конечно, можно и не верить, — поспешил его успокоить народоволец. — Это зависит от выбора парадигмы. Вы читали Куна, «Структуру научных революций»? Значит, помните: всякая парадигма одни явления считает центральными, а другие периферийными, на них можно не обращать внимания. А изменится парадигма, и то, чем, казалось, можно пренебречь, именно это и становится центральным.

Батюшка оказался совсем не прост...

Видимо, поймав его удивленный взгляд, он пояснил:

— Я окончил Электротехнический институт и аспирантуру, но защищаться не стал, понял, что мне этого мало.

— В каком смысле мало?

— В обычном. У всех же есть какая-то часть личности, которая требует чего-то более высокого, чем обычная жизнь. Но люди в основном стараются ее не слушать, считают какой-то глупостью, детской фантазией. Но некоторые не выдерживают и идут на ее зов. Я и пошел.

— А что, для этого обязательно идти именно в церковь? — Савл не хотел нарываться, но, скрывая свои мысли, ему казалось, он бы еще больше оскорбил на удивление симпатичного батюшку.

— Необязательно. Но я не знаю, где еще ищут более высокого смысла жизни. Где говорят о бессмертии, о предназначении... А мне хотелось быть среди единомышленников.

— И вы их нашли?

— Конечно. Я не настолько оригинален, чтобы быть созданным в единственном экземпляре.

— И что, все православные оказались вашими единомышленниками?

— Конечно, нет. Люди не настолько примитивны, чтобы удовлетвориться одной истиной на всех. Даже священника каждый должен найти по душе. Это как врача. Вы, если не секрет, кто по профессии?

— Психотерапевт. Если это профессия. Разным людям и у нас нужны разные методики, разные личности... Кому-то нужен логик, а кому-то диктатор. Но все-таки никто из нас не требует, чтобы нам отбивали поклоны.

— Так и мы не требуем. И Богу они не нужны. Они нужны молящимся. Чтобы они чувствовали свое единение с единоверцами. И с прошлыми, и с будущими. А если кто-то без этого может обойтись, так и Бог ему в помощь.

— И у вас все так думают?

— Нет, конечно. И хорошо, что не все. Разным людям и требуется разное. Кому-то нужен я, а кому-то заведующий нашей церковной лавкой. К нему за советами ходят больше, чем ко мне, вам имеет смысл с ним познакомиться. Наша лавка метрах в двадцати налево.

— На вас можно сослаться?

— Конечно. Но это не понадобится, он сам с вами заговорит.

Чудеса, он и мимо этой лавки проходил раз сто и почему-то не замечал, хотя вот она, вывеска, выведенная славянской вязью.

Внутри все тоже было оплетено этой вязью — календари с ликами святых, разложенные по прилавку жития или как их там, и продавец за прилавком на фоне веселеньких иконок походил на священника гораздо больше, чем сам священник. Невысокий, но осанистый, весь в черном, с серебряной с чернью гривой, с круглой вьющейся бородой, похожей на серебряный с чернью мох, с испытующим взглядом крупных черных глаз под серебряными с чернью крупными бровями, он сразу оценил нерешительность, с которой новичок оглядывал помещение, стараясь, чтобы это было незаметно.

Савл взял с прилавка «Жизнеописания афонских подвижников благочестия» и сделал вид, что с головой ушел в предисловие. Похвальное слово Святогорскому монашеству инока Парфения. Духовник о. Григорий — болгарин († 1839). Духовник о. Арсений — русский († 1846). Духовник о. Венедикт — грузин († 1862). Сокровенный старец — болгарин († 1862). Духовник о. Антипа — молдаванин († 1882). Неизвестный пещерник — грек († 1855). Старец о. Иоасаф — грек († 1872). Послушник Иаков Болгарин и сокровенный старец о. Паисий — грек († 1869). Старец Длиннобрадый — грек († 1835). Старец Хаджи-Георгий — грек († 1886)...

— Вы, наверно, первый раз такую литературу читаете?

Пришлось поднять глаза и встретиться с суровым, но и сочувствующим взглядом глубоких черных глаз.

— В общем, да.

— И вы что, верите, что человек произошел от обезьяны?

В голосе пророка прозвучала снисходительная насмешка, но черные глаза по-прежнему смотрели сострадательно и требовательно.

— Более правдоподобных версий нет...

— Вот вы это скажите на Страшном суде, когда вас черти на сковородку потащат. Я тоже когда-то верил в дарвинизм, даже детей учил. А однажды понял: меня создал Бог.

Есть же счастливы — что им стукнуло в голову, то и правда...

Пророк смотрел на Савла с неподдельным состраданием.

— Вы на кого учились? Кем работаете?

— Психотерапевтом, — почему-то неловко в этом признаваться.

— Учите людей, как жить, а самого главного не знаете? Вы кто по образованию?

— Психолог.

— Как вы можете быть психологом, если в душу не верите? Я вот не имею психологического образования, а ко мне людей наверняка ходит больше, чем к вам. Потому что их учу не я, а через меня Господь говорит.

Почему вы в этом так уверены, не стал спрашивать Савл, ибо уже постиг главное свойство обреченных на веру — что им показалось, то и правда раз и навсегда.

— Да вам же даже того и не скажут, с чем к Богу идут, — пророк совсем не важничал и не торжествовал, он искренне сочувствовал заплутавшему в трех соснах. — Да вот посидите здесь да послушайте, с чем идут к Господу.

Он со своим суровым участием указал на стул, стоящий боком к прилавку, и Савл опустился на него, потому что это все равно было лучше, чем брести домой. Да и в самом деле было любопытно.

К этому учителю жизни и впрямь не зарастала народная тропа; шли в основном, правда, женщины. Но были и мужчины. Они видели в этом торговце церковным ширпотребом кого-то вроде секретаря при очень большом начальнике и пытались пронюхать, как к тому лучше подъехать. А становиться лучше самим — даже помыслы такие возникали лишь у немногих. Но все-таки возникали, иногда очень серьезные. И ему было невыносимо жаль их всех, бедных детей, выброшенных в безжалостный мир.

«Им не по силам быть ни святыми, презирающими тело, ни скотами, из одного тела и состоящими. Но заслуживают они того или не заслуживают, их невыносимо жалко. Мне нечего им дать, так и нужно оставить их в покое, пусть спасаются, как умеют. Не даешь, так, по крайней мере, не отнимай. Да и как их судить, младенцев. Этот жадный, тот честолюбивый, третий трусливый, четвертый злой... да ведь все это не более чем психические аномалии, осуждать плохих людей означает осуждать больных».

Он чувствовал, что и ему самому мир внушает ужас, потому что участвовать в жизни означает причинять кому-то боль или прятаться за тех, кто ее причиняет.

— Запомните, вы молитесь Господу, — меж тем внушал паломникам Учитель, — а святых только просите походатайствовать за вас! Иначе это было бы многобожие. Но если вы хотите, чтобы святой угодник помогал вам, но почему-то не можете прийти в храм, лучше всего купить икону святого и молиться ей дома.

Их вовсю и покупали, будто лекарства в аптеке, каждое от своей напасти. Георгию Победоносцу нужно было молиться о защите от врагов, Николаю Чудотворцу о защите от дорожных бед, но он также помогал и торговцам, детям да еще и подыскивал девушкам хорошего жениха. Заодно он помогал почему-то и заключенным. Пантелеймон-целитель исцелял болезни, Спиридон Тримифунтский улучшал финансовое благополучие, Сергей Радонежский приходил на помощь на экзаменах и в судебных склоках, Петр и Феврония Муромские помогали одиноким людям найти свою «вторую половинку», а семейным улучшить отношения в семье. Известно также множество случаев, когда молитва Петру и Февронии помогла женщинам забеременеть.

Известно множество случаев... Кому известно, кем проверялось? Да, слава богу, никем, иначе несчастным младенцам и вовсе было бы не на что надеяться. Они же не редкостные титаны, которые могут сказать Богу, что им от него ничего не нужно, — им довольно того, что Он есть.

«Эти бедные сиротки не выживут без доброго и щедрого Папочки, так и не мешай им, погибай в одиночку».

Симы, несмотря на не самый ранний час, дома не было, и он с облегчением подумал, что может хотя бы еще часок-другой не притворяться, не изображать оптимизм.

Есть хотелось не ему, а всего лишь его телу, которое вполне могло бы удовольствоваться сладким чаем из китайского термоса, глюкозой-сахарозой. Поэтому вместо ужина он сел за комп отвечать на деловые письма. Но и выскакивающие из каких-то бездн объявления прочитывал очень внимательно.

Трансфермальный приворот

В 2009 году академик высшей магии И. Н. Герман разработал новый метод в любовной магии под условным названием трансфермальный приворот. Данный метод не имеет ничего общего с общепринятыми классическими обрядовыми методами магии, в большей степени его можно отнести к экстрасенсорным видам воздействия. В процессе проведения трансфермального приворота Илья Николаевич передает ваши чувства человеку, на которого вы хотите повлиять. В результате проведения такого воздействия у человека возникает естественное изменение чувств и образуется стойкая эмоциональная привязка. Результат наступает сразу же после проведения сеанса и длится продолжительное время. С помощью трансфермального приворота вы легко восстановите потерянные чувства и сможете моментально вернуть любимого человека. Данный метод абсолютно безвреден для вас и совершенно безопасен для вашего близкого человека. Для проведения трансфермального приворота не требуется никаких фотографий или вещей человека, на которого будет происходить воздействие. Вам не придется выполнять никаких сложных рекомендаций. Всю работу маг И. Н. Герман проводит полностью сам.

Вас интересуется цигун? Это к нам.

Можно заказать сорокоуст по Интернету во всех монастырях с чудотворными иконами. Получение благодати гарантировано.

Масонская молитва на деньги!

Ясновидение за пять дней. Онлайн-практикум. Результат со второго дня.

Еще сегодня утром он бы мысленно плевался, читая эти призывы, но теперь он не испытывал ничего, кроме жалости к несчастным потерявшимся сироткам, и жальче всех, до физической ломоты в груди, ему было того счастливого младенца, каким была, а значит, и осталась бедная Сима...

Надо куда-то ее вытащить, оторвать от воспоминаний о пропавшем отце. И как только он начал думать о ней, так тут же стало легче самому.

С двадцатизатяжной высоты он смотрел на небольшую Венецию, похожую среди зеленых вод на изумительно изготовленный макет со всеми дворцами и соборами, совершенно неотличимыми от настоящих, и думал, что роскошнее этого человеческий гений ничего не создавал. Убивать, грабить, дурачить, наживаться и все вбивать в красоту — и тысячи тысяч будут веками съезжаться на поклонение, и, разумеется, ничего иного и быть не может. Чуть ли не вчера ему казалось, что может, что звери пусть и не творят таких неправдоподобных красот, зато не творят и таких зверств, что обратить людей в зверей было бы спасением для них. А теперь он понял, что в качестве зверей люди просто не выживут, уж слишком они слабы.

Он раскошелился на каюту с балконом, чтобы ни с кем не сталкиваться даже взглядом, и, случалось, целыми часами, полулежа в шезлонге, смотрел на сверкающее и переливающееся море, которое было трудно назвать иначе как лазурным, и ему нисколько не было скучно, как не бывает скучно тем, кто выздоравливает после мучительной и опасной болезни. Он как будто и правда выздоравливал от жизни: все, что его еще недавно волновало, ранило, словно бы уходило под воду, и его было все труднее и труднее разглядеть, если бы даже он к этому стремился.

Его отрешенность шла на пользу и Симе, заставляя ее за него тревожиться, то есть возвращаться к жизни. Она вытаскивала его побродить по кораблю, где было решительно все, чего могло пожелать тело, — огромная столовая, где в любое время дня и ночи можно было найти любые дары земли и моря, бассейн и спортзал с массажистками, сауна, теннисный корт, похожий на вольер для птиц, беговая дорожка на верхней палубе, которая пришлась бы в пору школьному стадиону...

По беговой дорожке, скособочась, всегда поспешали на крабьих ножках несколько древних-преддревних старичков и старушек в шортах и бейсболках, и они с Симой тоже делали несколько кругов быстрой ходьбой (он уже почти не хромал), а потом просто бродили по кораблю, переходя с этажа на этаж, и всегда задерживались у застекленной, как аквариум, капитанской рубки. Рубка была отделана благородным полированным деревом, в которое было вмонтировано множество приборов, но благороднее всего выглядел штурвал, за полированные рукоятки которого держался стройный рулевой, весь в белом. Капитан в поле зрения появлялся редко, но тогда уж от него было трудно оторвать взгляд, — так он был хорош своим орлиным профилем, и орлиным взглядом, и коротко остриженной серебряной бородой, и такими же волосами. Он вглядывался в искрящуюся лазурную даль, где очень медленно вырастали, а затем оставались в стороне небольшие розовые острова, отдавал какие-то распоряжения рулевому и вновь исчезал, а они, не сговариваясь, спускались в детскую рубку.

Там дело шло побойчее. Штурвал и отделка там были попроще, зато стена перед штурвалом представляла собой огромный экран с еще более лазурным, а иногда и бурным морем, острова из которого вырастали каждые две-три минуты, и нужно было поскорее вертеть штурвал, чтобы в них не врезаться. Хотя перекрутить тоже было опасно, ибо воображаемое судно слушалось руля не в пример лучше реального. За штурвалом всегда стоял какой-нибудь мальчишка, но борьбы за право порулить не наблюдалось: детей на корабле было на удивление мало. Даже людей их возраста почти не попадалось, основная масса пассажиров были не просто старички и старушки, но старички и старушки прямо-таки мумифицированные...

Однако довольно активные, все время как-то шебаршились.

А они с Симой вроде бы немножко стеснялись друг друга, будто влюбленные подростки, и, нечаянно соприкоснувшись обнаженными предплечьями, как бы в шутку, но с реальным смущением просили друг у друга прощения. Очень уж давно они не были по-настоящему вдвоем.

Но однажды, закрыв глаза, он увидел мертвую мать на кованой халды-балдинской кровати, прикрытую байковым рядном, каким они примерно и накрывались, и он, стоя над ней, рыдал, как маленький, взывая неизвестно к кому: «Зачем, зачем с нами так?..»

И проснулся оттого, что кто-то чем-то мягким тыкался ему в лицо, — это Сима поцелуями пыталась стереть его слезы. «Ты плакал, как ребенок, как обиженный ребенок», — шептала она, и он отвечал тоже шепотом: «Так мы и есть дети, все люди дети». И они исступленно ласкали друг друга, а его богатырь продолжал спать сном праведника, потому что его ласки были обращены к ее душе, к тому прелестному счастливому младенцу, которого он теперь все время угадывал в ней.

— Ты всегда был слишком сильным, — самозабвенно шептала она, — тебя было невозможно пожалеть. А теперь я за тебя кого угодно убить готова...

— Тебе не противен мой живот? — вдруг приостановился он.

— Что за глупость, я обожаю твой животик, он такой пушистенный. И волосики становятся дыбом, когда его гладишь. Да и нет у тебя никакого особенного живота. Уж лучше, чем эти мумии...

По этому поводу он позволил себе съесть вкуснейший лишний блинчик с завернутым в него тугим черничным киселем, ляпнув на него лишнюю ложку таких свежайших взбитых сливок, о существовании каких он даже не догадывался, — можно было подумать, что где-то в трюме здесь держат коров. Они сидели вдвоем за столиком на корме, не торопясь допивать отличный кофе с молоком, и смотрели на пенную дорожку, уходящую к сияющему горизонту, и это было еще никогда не испытанное им счастье: мне некуда больше спешить.

А потом, держась за руки, словно влюбленные юнцы, они отправились на верхнюю палубу постоять на ветерке и полюбопытствовать, что открывается по курсу их ковчега. И его ни на мгновение не отпускало ощущение, что ее до боли маленькая рука действительно чудо. Это было словно бы живое существо, которое то посылало ему легкими пожатиями какие-то сигналы, то ласкалось, то вздрагивало от неожиданных звуков, а иногда замирало в изумлении.

Изумляться же было чему: двугорбый островок, проклюнувшийся из искрящегося горизонта, на глазах вырастал в исполинскую гору, а распадок между вершинами обращался в непроглядное ущелье. И они шли прямо в эту черную щель, казалось, со скоростью гоночного автомобиля: еще немного, и отворачивать будет поздно. Уже были отчетливо видны почти вертикальные скальные склоны, один из которых пересекала тень светящегося следа реактивного самолета, и темные веретенья кипарисов, столпившихся у входа в непроглядное скальное нутро.

Ее рука тревожно напряглась, и он как бы подбадривающе подмигнул ей парой легкомысленных пожатий: «Сейчас пойду потереблю капитана».

Он старался не переходить на бег, чтобы не поддаться да и не вызвать паники, но все равно заметил, что старички и старушки заметно перепуганы, тревожно показывают друг другу через борт на стремительно растущую, рассеченную надвое гору, а кое-кто уже суетится у спасательных шлюпок, не зная, как к ним подступиться, и до него впервые дошло, что за все эти дни он не видел на судне ни одного матроса, только уборщиков-официантов.

Зато в детской рубке царил полный покой, двое мальчишек азартно выруливали среди воображаемых островов и рифов.

По последней галерее он уже откровенно бежал и, прижавшись лицом к теплему стеклу, с ужасом обнаружил, что в рубке никого нет, ни рулевого, ни капитана. Он хотел подергать дверь — у нее не оказалось даже ручки. Он вспомнил, что пробежал мимо красного щита с противопожарными баграми-топорами, и бросился туда. Паника за эти минуты выросла вдвое, как и рассеченная страшной черной щелью гора, вокруг бессмысленно раскачиваемых шлюпок уже началась маленькая драчка, — народ вот-вот начнет сигать за борт.

Перед тем как разбить стекло, он с колотящимся сердцем еще раз припал к нему лицом, — рубка была пуста. С разворота, как на лесоповале, стараясь отвернуть лицо, чтобы не пораниться осколками, он что есть силы звезданул красным топором по стеклу. Топор отскочил, будто от стальной брони, но крошечная ссадинка все-таки осталась.

Пока он бегал, в нем еще жило чувство ирреальности творившегося, но после первого удара он действовал как автомат, душа пребывала в отключке.

Он хватил еще раз, уже почти не отворачиваясь и стараясь попасть по тому же самому месту (хорошо, на своем веку немало поработал топором). А потом, задыхаясь, колотил и колотил, пока стекло вдруг не осыпалось ледяными кубиками величиною с игральную кость. Проклиная свой сильно сдавший, но все равно чрезвычайный живот, он перевалился внутрь и кинулся к штурвалу.

Штурвала не было.

А скалистые горбы теперь заслоняли небо, но черная щель меж ними оставалась такой же непроглядной, хотя на кипарисах у ее входа уже различалась мохнатость. Перед ними можно было разглядеть крошечную фигурку в рясе, приветливо машущую ему рукой, и он нисколько не удивился, что отец Павел поджидает их здесь. Но проверять, он ли это, было некогда, хотя мощный морской бинокль лежал здесь же, на полированном красном дереве среди солидных, но совершенно бесполезных приборов.

Детская рубка!..

Он ринулся к окну и чуть не грохнулся, поскользнувшись на груде ледышек. Обдирая проклятый живот, перевалился наружу и столкнулся с Симой, по-младенчески испуганно таращившей глаза. Изобразив мгновенную улыбку, он стремительно пожал ее обнаженный локоть и постарался не выкрикнуть, а просто сказать: «Не волнуйся, я сейчас принесу штурвал!» — и, прихрамывая, затоптал по галерее, куда уже начал стекаться перепуганный народ. Его пытались остановить, задавали какие-то требовательные или умоляющие вопросы, но он всех расшвыривал, не разбирая возраста и пола и даже не пытаясь что-либо понять, — мелькали только мумифицированные личики, одни перекошенные, другие залитые слезами или потом.

Детская рубка была пуста, мальчишек растащили папы-мамы. Он рванул штурвал на себя, и тот на удивление легко выскользнул из черной квадратной дыры. Из середины штурвала торчал такой же квадратный черный штырь.

Перепахкавшись смазкой, он безжалостно пробился назад через начинающую сходить с ума толпу ко входу в рубку, откуда со страхом и надеждой на него взирали вытарашенные Симины глаза. Подняв штурвал над головой, он бросил Симе: «Скажи им, что я капитан, что сейчас я вырулю, пусть не паникуют» — и, переваливаясь со штурвалом через горячее царапучее железо, услышал, как она кричит: «Успокойтесь, мой муж капитан!! Май хазбэнд из кэптен, калм даун!!»

Кажется, рану в бедре он изрядно разбередил, но было не до того. Поспешно проковыляв к тому месту, где всегда стоял рулевой, он обнаружил, что штурвал некуда вставить: полированное красное дерево было совершенно сплошным, без малейшего отверстия. А черная щель стремительно приближалась, и было совершенно ясно, что кораблю туда не войти, — еще две-три минуты, и — громовой удар, скрежет... При такой массе и скорости корпус сомнется в гармошку, в лепешку...

Он оглянулся. Через выбитое стекло на него с ужасом и надеждой смотрели десятки людей, — одни плакали, другие молились, третьи обнимали друг друга, и впереди всех с бесконечной верой и любовью таращились глазки его драгоценного младенчика. И он понял, что будет единственно правильным: пусть они проживут последние оставшиеся им минуты без ужаса, предпринимать что бы то ни было уже поздно.

Он ободряюще улыбнулся через плечо и крикнул Симе:

— Все в порядке, начинаю выруливать.

Он принял гордую позу рулевого и, перехватывая руками, начал быстро вращать ни к чему не присоединенный штурвал по часовой стрелке, делая вид, что выруливает вправо.

И — о чудо! — каменная пасть действительно начала отходить влево. Он завертел штурвал еще быстрее, и вот она уже остается слева по борту, а они идут вдоль невесть откуда взявшихся бурунов...

Он покосился назад, далеко ли отступила опасность, и ему показалось, что отец Павел приветственно и благословляюще машет ему рукой.

Но проверять, не показалось ли ему это, было некогда.